

МИТИН ЖУРНАЛ
KOLONNA PUBLICATIONS

ББК 84.7 Фр

FRANÇOIS GIBAULT

UN NUAGE APRÈS L'AUTRE

INTERDIT AUX CHINOIS ET AUX CHIENS

© Editions de La Table Ronde

Франсуа Жибо (р. 1932) – писатель, адвокат, автор фундаментальной биографии Луи-Фердинанда Селина, коллекционер, меценат и, наконец, просто заметный представитель парижского света...

«Китайцам и собакам вход воспрещен» (1998) – первый роман Франсуа Жибо, нечто среднее между автобиографией и фантастическим произведением.

«Не все так безоблачно» (2005) – новый роман Франсуа Жибо, в котором он в свойственной ему аллегорической и сатирической манере описывает нравы и обычаи современного общества. На русский язык переводится впервые.

В оформлении обложки использован

рисунок Фелисьена Ропса «Порнократия» (1881).

ISBN 5-98144-069-4

©François Gibault, 1997, 2005

© Маруся Климова, 1997, 2005

© Вячеслав Кондратович, 1997

© Митин Журнал, 2005

© Kolonna Publications, 2005

Руководство изданием: Дмитрий Боченков

Редактор: Дмитрий Волчек

Обложка: Виктория Горбунова

Верстка: Елена Антонова

Франсуа Жибо

НЕ ВСЕ ТАК БЕЗОБЛАЧНО

ОТ ПЕРЕВОДЧИКА

Франсуа Жибо родился в 1932 году в семье состоятельных парижских буржуа в бывшем особняке Сен-Симона, который тот в свое время преобразовал в «семейные фаланстеры». В настоящее время весь этот особняк по-прежнему принадлежит Жибо, а вот знаменитый кинотеатр «Пагода», ранее являвшийся собственностью его семьи, пришлось продать. Франсуа Жибо получил прекрасное образование: изучал право, окончил Высшую школу национальной безопасности. Участвовал в Алжирской войне, дослужился до полковника кавалерии, получил Военный крест. Вернувшись с войны, он становится адвокатом и достигает на этом поприще значительных успехов: участвует в самых крупных политических процессах своего времени (он защищал императора Бокасса, алжирских террористов, бретонских метателей бомб и т.д.), входит в состав парижского кассационного суда, получает Орден Почетного Легиона, – в общем, ведет жизнь состоятельного парижанина, по-своему примечательную, но к литературе прямого отношения не имеющую. Поворотной в судьбе Жибо стала встреча с вдовой Луи-Фердинанда Селина Люсетт Детуш, состоявшаяся в 1962 году. Это знакомство, точно так же, как и знакомство с творчеством самого Селина, оказало на сознание преуспевающего адвоката колоссальное влияние, следы которого явственно ощущаются в предлагаемой вниманию русского читателя книге. Начиная с этого времени, Франсуа Жибо увлеченно посвящает себя пропаганде и изучению творчества Селина, возглавляет Всемирное Общество Друзей Селина, пишет самую полную на сегодняшний день трехтомную биографию Селина, удостоенную премии Французской Академии.

В 1997 году Франсуа Жибо выпустил свой первый роман «Китайцем и собакам вход запрещен» – нечто среднее

между автобиографией и фантастическим произведением – который был почти сразу переведен на русский, а затем и другие языки, включая китайский. Роман написан от первого лица и описывает необычное детство, прошедшее на период Второй мировой войны и немецкой оккупации. Безусловно, это чрезвычайно романтическое, странное и утрированное описание реально пережитых событий, и автор сам отдает себе в этом отчет. Роман был высоко оценен критикой, а вышедшее небольшим тиражом его первое русское издание практически сразу стало библиографической редкостью.

«Не все так безоблачно» – последний и совсем новый роман Франсуа Жибо, который переводится на русский язык впервые. В этом романе Жибо в свойственной ему аллегорической и сатирической манере описывает нравы и обычаи современного общества. Это произведение можно охарактеризовать как своеобразную постмодернистскую антиутопию. Включая в повествование цитаты из классиков французской литературы: Рембо, де Виньи, Ронсара, Блуа, Гюго, Буало, Гюисманса, – автор как бы подчеркивает абсурдность сознания современного человека, раздираемого противоречиями, лишённого цельности и свежести восприятия мира. Главные герои книги – Флёр, Жерминаль и Одилон – представляют собой различные ипостаси личности самого автора, стремящегося, подобно «естественному человеку» Руссо, вернуться к природе, но в то же время прекрасно осознающего неосуществимость этой мечты. По всему тексту разбросаны аллюзии на биографию самого Франсуа Жибо и историю его семьи – что придает повествованию еще большую достоверность. Роман полон юмора (иногда черного), за которым часто скрываются тоска и грусть, если не сказать депрессия: «Ты начинаешь морализировать, сам того не замечая, инстинктивно, подобно тому, как действует пес-поводырь: жестокое

разочарование для того, кто некогда был кондотьером, кумиром арен и стадионов, королем трапеций, балансировавшим на утыканых гвоздями подмостках».

В завершение этого небольшого вступления хочется привести одну поучительную историю, которая не так давно приключилась с автором вошедших в книгу произведений. Инсценировка романа «Китайцам и собакам вход воспрещен», осуществленная в 2000 году Антуаном Лефевром в парижских театре «Дешаржер» – а потом и в театре «де Нель», – привела к тому, что представитель китайского посольства подал на автора в суд, обвиняя его в расовой дискриминации и нетерпимости по отношению к китайцам. Суд, правда, завершился мировым соглашением, и конфликт был исчерпан. Франсуа Жибо объяснил истцам, что в свое время видел в Шанхае табличку с надписью «Китайцам и собакам вход воспрещен», которая в колониальные времена была установлена у входа в сады, отведенные исключительно для иностранцев. Озаглавив свой роман подобным образом, автор просто хотел сказать, что его произведения – это тоже что-то вроде его личного сада, заходить в который никого не принуждают, и те, кого все это не интересует, могут идти своей дорогой.

КИТАЙЦАМ И СОБАКАМ ВХОД ВОСПРЕЩЕН

*Перевод Маруси Климовой и
Вячеслава Кондратовича*



ПРЕДИСЛОВИЕ

Эта вещь рождалась, как дитя, столь же мучительно. Это собрание всего и ничего, которое не имеет ни начала, ни конца. Это взгляд сквозь открытое окно, сквозь дверь на улицу, на движущихся там людей и животных, и на того, кто когда-то был мной, но теперь таковым не является и не имеет ко мне ни малейшего отношения. Здесь запечатлелось непреодолимое желание заявить о себе, оставить после себя что-то вроде следа. Однако не стоит искать тут воспоминаний о пережитом, убеждений и глубоких чувств. Тут все перепуталось, смешалось в едином потоке горьких и беспорядочных признаний, продиктованных стремлением к освобождению и обретению покоя. Эту книгу можно не читать вовсе; начав, ее можно в любой момент бросить, и тем более совсем не обязательно ее любить. Она была написана не для этого.



Память, как и все в этом мире, не вечна, воспоминания тоже. Их теряешь каждый день, а когда упадет последний занавес, они все исчезнут вместе с вами за сценой. И хотя многое теряется в пути и изнашивается, кое-что прочно прилипает к вашей коже и долго от нее не отстает. Избавиться от них не так просто, это не дикие птицы, которые улетают при звуке выстрела. Зато их

можно изменить, расчленишь, переодеть, поменяв местами добро и зло, ложь и истину, превратив свое прошлое в гротеск, в вашей власти сделать трагическое смешным. Уверенности в себе это прибавляет, однако время остановить все равно не может.

Все это следует принять или отвергнуть, это лишено всякого смысла – глубокого или поверхностного, это как железнодорожный состав, который каждый машинально тащит за собой по дороге, ведущей в никуда, в землю необетованную. Это не более, чем слова, тени слов, смысл которых едва различим, обрывки жизни, брошенные в воду и уносимые в общем потоке течением всепоглощающего времени.



Я начал, как все и как никто. Во чреве матери, как все, но это был я, не похожий ни на кого. Именно к тому времени относятся мои самые сокровенные переживания, которые и по сей день остались для меня таковыми, несмотря на обилие новых впечатлений и количество утекшей с тех пор воды. Я всегда во всё прекрасно упаковывался, будь то пеленки, фрак, красные форменные штаны или тога. Я изображал из себя ангела, черта и зверя и старался изо всех сил, невзирая на жизненные бури и постоянную смену времен года, от которых веяло то теплом, то холодом, но чаще холодом. Во чреве я познал надежды и разочарования, тщетность человеческих усилий и горечь поражений, столь же банальных, сколь и неповторимых, – неповторимых, ибо все-таки это был я. Я уже подслушивал, приложив ухо к дверям, – свидетельство моей крайней испорченности, – однако, это было первое, чему я научился. Мне не хватало впечатлений, и я подслушивал

в интимной теплоте, воружая идеи и звуки. Вследствие этой неопределенности, мои остальные способности развивались головокружительно быстро.

Я – настоящий сын своей матери. Она напоминала Жанну д'Арк и Деву Марию, а я подобен Карлу VII и евангельскому Иосифу, похожим друг на друга, как близнецы, у меня как бы две головы в одной, и еще одна от обезьяны из Китая, где меня научили жонглировать, лавировать между рифами и грести против течения мысли, не заботясь о фарфоре. Это очень старая история, но она все еще волнует меня. Многие обнаружат в ней сходство со Столетней войной, машину для путешествий во времени, обычную антикварную лавку, а, в общем-то, это барахолка.

Тщательно подбирая ничего не значащие слова, нанизывая их на ниточку, как жемчужины, я добился того, что каждый может вкладывать в составленные мной фразы такой смысл, какой ему заблагорассудится. В конце концов, никто ведь ничего в сущности не понимает; так в театре всегда найдутся зрители, готовые смеяться над тем, что абсолютно не смешно. Во всяком случае, каждый все равно будет думать по-своему. Было бы над чем. Но пусть другие ломают себе голову и гадают, свинина это или баранина, козлятина или капуста. Я же вот уже несколько пятилетий подряд мараю бумагу и упрямо бутерброды, прихрамывая и приторно улыбаясь. С неприступным видом и орденом в петлице я в одиночестве копаюсь в грязи.



От начала века прошло чуть больше тридцати, почти столько же, сколько было отпущено Господу Нашему

Иисусу. Рождение мое было неприметным и случайным, ко всему прочему ждали девочку, к приему которой все было уже готово. Таким образом, фальшь сопровождала меня с самого начала, колыбельные песни, предназначенные для другой, будили во мне трагическое ощущение мертворожденного. Мне неприятно вспоминать зыбкую атмосферу моего чересчур приторного раннего детства, которое я провел в окружении бонн и предвоенных хлопот, хотя это было время фокстрота, путешествия в Италию, пересечения Атлантики и серебряных помпонов на праздничном наряде.

С наступлением сумерек меня оставляли на ночь до утра, завернутого в простыни, как в саван, в полном одиночестве, сначала в колыбели, а потом в кровати, как покойника в гробу. Так что до войны я умирал несколько тысяч раз, и это повлияло на формирование моего характера, возможно, не совсем так, как того желали окружающие. Теплое ложе, прозрачная вода, сухая трава, – о, к этому нечего добавить.

На самом деле, я никогда не покидал чрева моей матери, и сегодня, спустя несколько лет после ее смерти, я продолжаю оставаться в укрытии, невидимым для посторонних глаз, а надо мной стремительно проносятся подгоняемые ветром юные и прекрасные облака, в которых есть что-то безумное и которые не вернутся ни завтра, ни через год, никогда.

Я состарился вместе с моим деревом. С тем самым, с которым мы вместе росли. Оно поднималось над деревней, и с него, с каждым днем все явственнее, я различал вдали побережье. Побережья прекрасны, они всегда скрываются за горами, а те, что поменьше – за обычными холмами, однако больше всего меня волнуют самые труднодоступные.



Я был хорошим эмбрионом, в определенном смысле даже образцовым. После мне было очень трудно покинуть свою раковину, в которую я постоянно тайком возвращался. Так же втайне от других я научился радоваться и делать то, что считал для себя самым важным. По-настоящему скрываться от других могут немногие, и немногие получают от этого удовольствие. Это сложная добродетель, искусство, требующее постоянного совершенствования и работы над собой. Выставляя напоказ то, что принято скрывать, вы можете скрыть вещи куда более важные. Показная открытость делает лицемерие более привлекательным для других. Мух притягивает мед, и тот, кто хочет добиться откровенных признаний, должен уметь располагать к себе людей, хотя бы для того, чтобы получить материалы для рассказов.

В глубине души я охотник; чтобы обмануть дичь, я способен был бы сам покрыться перьями и взлететь, но я слишком люблю животных, и не могу обратить свое оружие против них, поэтому я вынужден мутить воду и охотиться на узких улочках, в альковах, залах суда, исповедальнях, на стадионах, выставляя себя на всеобщее обозрение и получая от этого истинное удовольствие. Короточе говоря, сердце у меня каменное, но оно все равно кровотоцит, и объяснить этого я не могу.



Никому и в голову прийти не могло, что еще в младенческом возрасте я уже все слышал и понимал. Все думали, что могут говорить в моем присутствии о чем угодно, не стесняясь в выражениях, как говорят перед стеной,

своим ночным столиком или раковиной, поэтому в моем присутствии говорили обо всем. А я, зарывшись в кружевах, тихонько улыбался и, наострив уши, слушал. После мы потешались над этим вместе с собакой, но никто ни о чем не догадывался. Разговоры взрослых для младенца чрезвычайно поучительны, гораздо более поучительны, чем книги.

Та же история, пересказанная много лет спустя, звучала совершенно иначе. Будь моя собака жива, она бы могла вам это подтвердить.

Я наблюдал, как эти хорошо воспитанные засранцы с ложечками и поднятыми вверх пальцами беседуют о том, о сем. «Еще чашечку чая, дорогая? И чуточку молока? Это наш посол прислал мне из Цейлона». «Вы слышали, что говорят о Пери? Не правда ли, она великолепно исполнила свою арию во втором акте?» «Ваш малыш никогда не плачет? Это примерный ребенок. Он смотрит на нас так, будто все понимает, как это трогательно».

Я же себя не выдавал, и, как мог, продолжал изображать младенца, только вот плакать не умел. Я умел смеяться, кричать, сосать, отрывивать, глупо хихикать, притворяться спящим, блевать, но не плакать. Достичь совершенства в этой роли мне не удавалось, но я все равно старался.

Собственно, это и были мои первые упражнения в лицемерии, способствовавшие моему укоренению во лжи, склонность к которой я считаю своим главным достоинством. Невозможно передать, насколько это полезно – уметь врать, смешивая правду и ложь до такой степени, что уже и сам порой перестаешь отличать одно от другого.

Самое трудное – сохранять при этом холодную голову, чеканный профиль и серьезность. Все остальное – детские шалости.

Я упражнялся в этом всю жизнь, что помогло мне подняться по ступеням совершенства. Теперь я восседаю на вершине пирамиды и наблюдаю оттуда за тем, как мои враги копошатся у ее подножья, изо всех сил стараясь вскарабкаться на стену. Но сколько бы они ни напрягались, пытаясь подняться, – в конце концов, они все равно рухнут вниз под громкий смех окружающих.

Можно было бы их просто растоптать и уничтожить, но я предпочитаю выразить им свое сочувствие, дабы унизить их еще сильнее.



Новорожденный в семье – подобен камню, брошенному в лужу на мостовой, особенно если он красив, а я был бесподобен со своими выющимися локонами, от которых мои предки были без ума. А тут еще мои бабушки и дедушки, все четверо тогда были живы, мой брат, моя сестра, консьержка, бонны и собака.

И дело даже не в лишнем рте или заде, который приходится подтирать, а скорее в любви, которую теперь приходится делить, как пирог, когда вдруг зайвится какой-нибудь незваный гость.

Я со своими золотистыми волосами и ангелоподобной внешностью сразу же отхватил себе большую часть, что не ускользнуло от моего внимания, ибо уже в раннем детстве я отличался недюжинными способностями и умением схватывать все на лету.

Со стороны я казался ничего не понимающим и не видящим младенцем, но, даже не видя ясно окружающих, я слышал все, что они говорили обо мне, каждое их подслащенное высказывание.

Дабы не потонуть во всем этом окончательно, мне пришлось прибегнуть ко лжи и лицемерию, ибо я скоро

понял, что с теми, кто вас любит, надо стараться быть отвратительным, так как это успокаивает страсти окружающих; с теми же, кто вас ненавидит, надо обращаться как можно ласковее, чтобы поставить их в тупик. Только тогда, плавая и лавируя между теми и другими, вы научитесь избегать подводных камней и сумеете выжить.

Первые месяцы своей жизни я плыл в своей колыбели, как потерпевший кораблекрушение в лодке при ураганном ветре, я вступил в схватку с разбушевавшимися стихиями и оказался единственным, кому удалось спастись после катастрофы.

В первые дни надо быть особенно внимательным, потом будет гораздо легче. Невозможно родиться старым, а потом помолодеть, но я сумел сделать нечто подобное. Каким-то чудом я сразу же, с момента появления на свет, многое постиг, а самое главное, понял, как важно заставить всех поверить в то, что ты ничего не понимаешь. В этом главный секрет моей живучести и долголетия.

Это настоящее чудо, что я сумел выжить, выбраться из этих лабиринтов и столпотворений, правда, не без помощи моей матери, которая только делала вид, что ни о чем не догадывается, а на самом деле с самого начала все обо мне знала.

Вот почему у меня не было ни детства, ни отрочества, по этой же причине меня, в сущности, и взрослым считать нельзя.

Я, как пробка, отданная на волю волн, которую бросает то туда, то сюда и которая с легкостью минует водовороты, в коих тонут даже рыбы.

Вот так, как пробка, я и жил, не отличая плохого от хорошего. Я знаю, что тем, кто родился тяжелее воды, не удалось выплыть в этой жизни. В ясные дни я порой замечаю, как они блестят на дне, под водой, и пусть они чем-то напоминают золото Рейна, я им не завидую, ибо один волосок на моей голове мне дороже тысячи империй.



Я вспоминаю о своем младенчестве со смешанным чувством, ибо, несмотря на чрезвычайно бережное и нежное отношение ко мне окружающих, мне частенько доставалось от них, что глубоко задевало мою крайне восприимчивую натуру; эти раны кровоточат и по сей день, хотя с тех пор прошло уже много десятков лет, и я живу, ни в чем не нуждаясь.

Впрочем, комфорт всегда вызывал во мне глубокое отвращение, так как я нахожу, что он дурно пахнет. Я сопротивлялся изо всех сил, но мне не удалось полностью от него избавиться, и я боюсь, что однажды он окончательно поглотит меня, ибо, старея, человек неизбежно опять становится трусливее.

Самым же трусливым существом в мире является ребенок, и в этом отношении я был вне конкуренции, играя на своей слабости, хрупкости, субтильном телосложении и болезнях. Слабость моих легких и характера, вкуче с моей чрезмерной чувствительностью, стали главными козырными картами в моей игре, я быстро осознал их силу и пользовался ими, не испытывая ни малейших угрызений совести.

Дома, в школе, на отдыхе, везде я был похож на слабо трепещущее, вот-вот готовое угаснуть пламя, субтильное невзрачное существо, еле-еле душа в теле, однако сам всегда ощущал в себе скрытую от посторонних внутреннюю силу.

Бил я всегда только в спину, активно используя ложь и лицемерие, которые и стали решающими факторами при достижении мной жизненного успеха.

Я полз, вгрызался, царапался с упорством и терпением муравья, отвоевывая себе место под солнцем и упиваясь комедией, в которой мне приходилось принимать участие.

Главное, что я усвоил раз и навсегда – это признание абсолютной бесполезности всех вещей, которые ни в коем случае не следует принимать всерьез.

Следуя этому принципу, я никогда не выставлял своих чувств напоказ, старался избегать слез и громких слов, отчего многие считали меня холодным и бессердечным, но ничто на свете не могло поколебать моего самообладания, заставить меня расслабиться и дать волю своим чувствам.

С годами панцирь зачерствел. Некогда тонкая корка превратилась в бетон, и теперь я окончательно спрятался от мира за совершенно непроницаемой скорлупой, способной выдержать самые страшные удары судьбы.

То, что за ней скрывается, касается лишь меня одного, я выставляю напоказ то, что считаю нужным, по своему усмотрению. Я могу выйти оттуда в любой момент, когда захочу, а в случае необходимости снова скрыться за ней.

Порой я пребываю там в полной изоляции от внешнего мира, и даже если бы у моего порога кого-то убили, я бы этого не заметил.

С людьми на улице меня ничто не связывает, бунтуют они или покорно смиряются перед судьбой – мне все равно. Я сыт по горло революциями, ложью и войнами. Пусть другие, если хотят, лезут вон из кожи, рвут у себя на груди рубаху, поют Интернационал и танцуют карманьолу. Я предпочитаю наблюдать за ними издали, со своего балкона, зато потом, когда страсти улягутся, я сохраню за собой право их критиковать.



В течение первых лет своей жизни я был деревенским мальчиком, дурачком, в которого все тыкали пальцем, или бросали камнями. Я сидел на задней парте и старательно ковырял в носу, не особенно вникая в тонкости

склонения слова *rosa*. Еще и теперь, в шестьдесят с лишним, я не утратил способности изображать из себя идиота. Это мое убежище, орлиное гнездо, откуда я могу безопасно наблюдать за внешним миром. Вы никого не интересуете, все убеждены, что вы ничего не замечаете и ничего не замечаете. Вот тут-то люди, забыв об осторожности, и проявляют свою подлинную сущность, а идиот с удовольствием за ними наблюдает.

Дома, в школе, на уроках Закона Божьего и на перерывах я забивался в угол так, чтобы меня никто не видел, и тихонько хихикал. Этот глупый смех вводил в заблуждение посторонних и оказывал благотворное воздействие на мою нервную систему. А с нервами у меня было далеко не все в порядке, порой случались жуткие приступы, я заглывал свой язык, задыхался и перед глазами у меня плыл красный туман. Тогда мне в рот закидывали носовой платок и ждали, пока это не пройдет, иногда меня отправляли в медчасть, а порой и прямо в больницу. Но даже когда приступов не было, мои веки, рот, руки, предплечья и ступни продолжали нервно подергиваться. Ходил я, шатаюсь и с трудом ориентируюсь во внешнем мире; разумеется, на меня было смешно смотреть.

Со временем мне это стало даже нравиться. Я прятался от окружающих за своей дебильностью, сознательно ее утрируя, пуская слюни, периодически делая в штаны и отпуская нелепые замечания, причем результаты, которых я добился, превзошли все мои ожидания. Вот так, не обременяя себя лишними заботами, вдали от людей я и жил; в школе я отставал по всем предметам, за что меня жестоко наказывали, заставляя выполнять самую тяжелую работу.

Более того, огорчение окружающих доставляло мне истинное наслаждение. Другие дети, наоборот, всячески старались казаться умнее, чем они были на самом деле, а я, будучи не глупее их, изображал из себя идиота. Таким

образом, я очень рано научился делать то, чего делать не полагалось, что указывает на мое умение владеть собой и абсолютное отсутствие или, напротив, чрезмерное присутствие у меня самолюбия.

Благодаря тому, что в школе я был ничтожеством и лентяем, я мог позволить себе жить в собственном мире, сосредоточив все свое внимание на себе и ничем себя особенно не стесняя.

Я рос, как трава в поле, с чистыми руками и чистым сердцем, наплевав на «общественное мнение», наблюдая за всем происходящим кошачьими глазами и тихонько хихикая; я был, вероятно, самым скрытным ребенком в мире и прекрасно осознавал, что у окружающих достаточно причин, чтобы меня ненавидеть.

Я наблюдал из своего угла, как они беснуются, слышал их речи, их призывы к убийствам, их вопли. Вокруг кипела индустриальная революция, грохотали машины, а топот толпы по бетону напоминал грохот отбойных молотков.

Одни были в кепках, другие в фуражках, некоторые – в мягких фетровых шляпах, с обнаженными головами было меньше, женщины были в шляпках, дети – в галстуках и беретах, и у всех на руках были кожаные перчатки, как у убийц, а на ногах – ботинки.

А мне так хотелось, чтобы мужчины были по пояс обнажены, чтобы женщины ходили в легких платьях, а вокруг бегали босоногие дети с птицами в руках и собаки.

Вот так я и провел свое детство, в ожидании детей, моих сверстников, конечно же, голых, с разноцветными птицами и большими собаками. Я жду и теперь.



В моей памяти, словно на улице, скопилось множество нелепых вещей. Еще в детстве, ничего не понимая, я

ощупывал их своими усиками. Подобно мухе, способной проникать в самые укромные уголки, я обращался то к воспоминаниям о том, что было до моего рождения, то к волшебным предчувствиям. Я был одновременно всюду и нигде; не сходя с места и двигаясь, я продирался сквозь густую пелену тумана, но, похоже, не продвинулся вперед ни на шаг, и теперь, как и тогда, мне приходится идти на ощупь в том же тумане, ничего не видя и не слыша. Стоит мне оступиться, сделать шаг назад, как я тут же оказываюсь в канаве, головой вниз, ногами вверх, отчего сердце мое начинает лихорадочно биться, и я окончательно перестаю что-либо понимать.

Одурев от шоколада, измотанный изнурительной бессонницей, я ковляю по краю жизни, как по краю обрыва.

Больше мне нечего терять, и я бреду, закрыв глаза, за своей собакой по пыльной дороге. Я иду навстречу пению жаворонков и шелесту листьев. До осени все будет хорошо. А после я впаду в зимнюю спячку, не теряя надежды на новое пробуждение. А наступит ли когда-нибудь пробуждение – этого не знает никто.



Здесь я говорю только о том, что поддается пересказу, обо всех этих мелких обыденных пакостях, об ужасе, к которому привыкаешь настолько, что уже его не замечаешь, остальное предназначается для другого мира. Я питаюсь только черствыми корками и объедками.

Я прекрасно себя чувствовал в болоте среди гусей и в канаве со свиньями. Я вполне мог бы питаться с ними из одной лоханки и ничем от них не отличаться. Без особого труда я мог бы заставить себя сосать земляных червей и подносить к своим губам сырые половые тряпки, все равно этого бы никто не заметил.

Постепенно начинаешь испытывать определенную потребность в самоуничтожении, и оно становится столь же необходимо тебе, как жажда к накопительству и склонность к самообману, без которых человек просто не может выжить и смириться с самим собой.

А что касается зрителей и зеркал, то со временем необходимость в них отпадает сама собой, ибо ты становишься несокрушимым, как скала, а твоя воля концентрируется и, подобно снаряду, выпущенному из пушки, способна рассекать воздух и разить противника наповал.

Я, не отрываясь, следил за собой и видел, как мои ступни, поднявшись вверх, отбрасывают тень на желтый потолок. По жизни я продвигался, как по минному полю, лавируя между ложными истинами и подлинными заблуждениями.

Таким образом, мне удалось пройти через заколдованные леса, прозрачные реки и прочие места, где повсюду были разбросаны позеленевшие трупы, но напрасно я несся галопом по степи, пытаясь своими воплями разбудить мертвецов, это оказалось мне не под силу.

Вот эта тщетность человеческих усилий меня, в конце концов, и убьет. Но подобный предательский выстрел в спину принес бы мне только облегчение. Ибо тогда я мог бы хоть о чем-нибудь поплакать.



Маленький вибрион, я долгое время оставался игрушкой в руках других. Меня переполняли амбиции, я изо всех сил бил своими крыльями, и это было ужасно. Мои лапки оставались прикованными к земле, а мои крики застревали у меня в горле. Я потихоньку задышался в безразличной толпе, хотя и продолжал шевелиться. Мой лифт

не останавливался ни на минуту. Меня как будто раздирали на части, не давая сделать самостоятельный выбор.

Из глубины своей норы я наблюдал за проходящими мимо поездами и взлетающими в небо самолетами. В любой момент запущенный на воображаемую орбиту с огромной скоростью болид мог стереть меня с лица земли под блеянье моих травоядных собратьев.

Я никогда не испытывал недостатка ни в еде, ни в домашнем уюте, но был начисто лишен права распоряжаться собственной жизнью; порой мне начинало казаться, что я родился на кладбище, и заливаясь слезами, я пел в огромных пустых залах величественные арии, извергая из себя чудовищные рулады и крещендо. Собаки жалобно вторили мне своим воем, как на похоронах.

Запертый в четырех стенах, придавленный к земле тяжелыми низкими тучами, я не мог вырваться из равнодушного мира взрослых. Уже с самого рождения я был как бы заживо погребен, и хотя грудь мою переполняли всевозможные амбиции, вырваться из этого плена я не мог до тех пор, пока не отбросил порочную добродетель и не научился ползти, извиваясь всем телом.

Но для того, чтобы постичь трудное искусство жизни, мне пришлось пройти сквозь огонь и воду, встать вровень с помоечными котами и бродячими собаками, отринуть природу и цивилизацию и изменить свое тело.

Только тогда, постепенно, шаг за шагом, я начал выходить из своей могилы, и сорвав с себя саван, вступил в жизнь абсолютно голый.



«Ты всего лишь ничтожная тленная тварь, – вопила она мне через окошко, – жалкая, ничтожная тленная тварь, помни, что ты рожден не для жизни, а для смерти!»

Даже теперь, через 60 лет, слышу ее вопли, эхо которых разносится по окрестным лестницам, тропинкам и дворам, они звенят у меня в ушах, хотя я стремительно убегаю прочь. Я бежал что есть мочи. Все напрасно.

«Ты всего лишь тленная тварь, не забывай, не забывай об этом никогда».

Это унылое заклинание застряло у меня в мозгу, и я не могу избавиться от него, забыть о нем даже теперь, по прошествии стольких лет. Что творилось в голове у этой злопыхательницы, что было у нее на сердце, под юбками, каким образом ей удавалось сжимать меня своими словами, как тисками?

Я никогда в своей жизни даже мухи не обидел, однажды я должен был выстрелить в человека, но в момент выстрела меня так затрясло, что я промахнулся, и я рад, что он стремительно убежал прочь. Всякий раз, когда я вспоминаю о нем, мне приятно осознавать, что он остался жив.

А та шлюха хотела, чтобы я содох. Она бы, вероятно, с радостью наблюдала за тем, как я упаду в лужу крови перед овощной лавкой. Ее раздражало то, что я живу, будто я был не человек, а кролик. И в тот самый миг, когда я на самом деле должен буду лечь и умереть, она будет торжествовать победу. Вот это больше всего и бесит меня во всей этой истории.

А ведь уже тогда она была в преклонном возрасте и не совсем в здравом уме, теперь же, когда прошло столько лет, она вероятно, уже давно под землей. Должно быть, она уже истлела. Она отправилась в мир иной, и о ней никто не вспоминает, даже продавец овощей, который, наверное, тоже умер, так что свидетелей больше нет.

Как будто я сам не знал, кто я такой. Простой смертный, конечно, но ведь еще живой. Тогда зачем ей хотелось перевернуть все с ног на голову, так, чтобы деревья росли сверху вниз и невозможно было на них залезть,

увидеть море до горизонта, услышать пение петухов, наблюдать за тем, как вечер спускается в долину и на деревню, а дымок, струящийся над каждым домом, тихонько улетает вдаль, будто душа человека?



В детстве я постоянно ждал нового вселенского потопа. Стоило начать моросить дождю, я брал свою собаку и отправлялся куда-нибудь на гору, чтобы созерцать оттуда стихийное бедствие. Мне казалось, что, случись это несчастье, оно способно было бы разрешить все мои внутренние противоречия и сделать мое существование менее унылым; почему-то я не мыслил своего счастья без несчастья других.

А между тем я очень любил своих отца и мать, дом, тетку Урсулу, наших соседей, няnek и собаку, зато ненавидел всех остальных детей, свои игрушки и школу. Я бы предпочел жить где-нибудь на краю света, в тех городах, о которых я слышал только по радио, где говорили на иностранных языках и где звучала такая далекая музыка.

Я часто рассматривал старые фотографии, на которых у неизвестных мне людей всегда был такой счастливый вид, хотя бы потому, что они жили, и вероятно, любили друг друга. Мне нравилось вдыхать в себя затхлый запах, созерцать пожелтевшую бумагу и перемены в жизни этих давно умерших людей.

Все они казались мне великолепными, и я искренне завидовал им. Я был благодарен Богу за то, что он утащил их к себе; мне хотелось, чтобы он истребил и красоток у дверей огромных особняков, и я больше не видел, как эти красотки уносятся в ночь на роскошных автомобилях навстречу ярким праздничным огням.

Нечто подобное я испытывал и вечером, после ужина, когда моя мать приходила и склонялась над моей кроватью, чтобы поцеловать меня перед тем, как уйти, вся благоухающая, в отливающих серебром платьях.

Как ничтожны страдания и огорчения других, но зато как они должны быть счастливы, эти другие, уже хотя бы потому, что живут в другом месте и носят такие прекрасные башмаки и нарядные костюмы!

Но особенно часто я думал об Америке, о том, какие ночи там в городах, о трансатлантических кораблях, о бесцельно мчащихся в ночи поездах.

В детстве я так страдал от счастья других, что теперь с отвращением вспоминаю свое детство, как будто я сам был тогда несчастен.

Как я был неправ, отдавая предпочтение одним и завидуя счастью других, как будто оно бросало тень на мое собственное.

В мире хватит места всем, так пусть же отправляются в свободное ночное плаванье корабли, пусть их освещают все луны и люстры, и да будет так всегда и во веки веков.



Существует связь между двумя поездами, между двумя разными существами, живыми личностями, между мертвыми и теми, кто совсем одинок. Связь письменная, через нить или волны, непосредственно прямо от одного к другому, с собаками, с листьями на деревьях, с овощами и цветами. В чашке риса, на облаке, утром на опушке леса или просто в дороге, покрытой выбоинами, в пустыне, в тени голубого кедра, под дождем, в жару любое самое неприкаянное и одинокое существо всегда с чем-либо связано. Уже в детстве мне было легче общаться с Богом и мертвецами, чем с живыми. Я никогда не отличался

особенным красноречием, даже тогда, когда просто нужно было отвечать на вопросы, хотя сам я был способен спрашивать о том, о чем вовсе не следовало, после чего мне частенько приходилось убегать с воплями, закрыв голову ночной рубашкой. Других детей я всегда ненавидел, я не мог смириться с их превосходством и уверенностью в себе. Я сочинял симфонии, которых никто никогда не слышал, великолепные величественные кантаты: не маленькие пьески, а монументальные сочинения для хора и большого оркестра, более величественные, чем у Верди; слушая их, я не спал ночи напролет, я рассказывал себе прекрасные романы, не записывая, а просто сочиняя вслух, и все это было продиктовано некой невидимой связью.

И сегодня еще я, затаив дыхание, вслушиваюсь по ночам в свои произведения, исчезающие при первом же луче солнца. На рассвете они ускользают в сточную канаву утраченных воспоминаний, впадающую в мертвое море человеческой культуры.



Жюлиус, мой кузен, был невыносим до такой степени, что его родители, которые ничего не могли с ним поделать, доверили его воспитание моим, в надежде, что у них что-нибудь получится. И Жюлиус, живший под нашей крышей, стал моим братом, моим зеркальным отражением. Мне ужасно нравился тот образ, который он отражал, ибо в нем из собачонки я превращался в волка, а из жалкого недоноска, которым я был на самом деле – в настоящего силача с широкими плечами и бицепсами. Он исчез, скончавшись в страшных муках, и я снова стал собакой. Ведь только другие делают из вас того, кем вы являетесь, и если ты живешь среди диких зверей, то поневоле начинаешь приобретать их привычки, ешь сырое мясо, и у

тебя развивается прекрасное чутье. Вот и Жюлиус научил меня плавать во всех водах, теплых и холодных, и в чистых источниках, и в сточных канавах.

Мне же гораздо больше нравилась грязь, ибо чистая вода вызывала у меня скуку. Он научил меня жизни среди крыс, я питался отбросами и мог подолгу находиться в ледяной воде среди гнили и всевозможных нечистот. С крысами сойтись гораздо труднее, чем с людьми, но если тебе удалось завоевать расположение первых, то для разнообразия можно пообщаться и с последними. Обратите внимание на свою внешность: стоит вам сменить нищенские лохмотья на шикарную дорогую одежду, как все люди тут же признают вас за своего. Гораздо хуже тем, кто родился в роскоши. Если им вдруг в голову придет мысль сменить свое высокое положение на лохмотья и отправиться в вертеп, им потребуются века, чтобы завоевать расположение крыс и подружиться с ними.



Жизнь шла своим чередом, у Жюлиуса уже пробивалась растительность на лице, в то время как у меня еще не было ничего, у него была осиная талия и почти мужской голос. Он носил брюки для гольфа, а я все еще ходил в коротких штанишках, он мог один гулять по городу, ездить на метро и на автобусе, а мне разрешалось выходить только в сопровождении няни.

Он подражал повадкам мужчин, надувал грудь и форсировал голос, тайком курил и вообще смотрел на меня сверху вниз с невыносимым самодовольством. Я ненавидел его за это и порой искренне желал его смерти.

В определенном возрасте вопросы жизни и смерти встают перед человеком острее всего. Это пора рыцарства, когда самая ничтожная проблема превращается в

непреодолимое препятствие и разрешить ее можно только путем кардинальных перемен. Ребенок готов умереть в любое мгновение точно так же, как он готов убить кого-нибудь, чтобы отомстить за свои унижения, потом он мняется, становится более податливым, безликим, учится сдерживать свои желания, разбавлять вино водой, покорно сносить удары судьбы; иными словами, он становится таким же обывателем, как и все остальные, проникается чиновничьим духом, не стесняется унижаться и гнуть спину. После этого ему остается вступить в законный брак и постепенно терять свои волосы и зубы, наблюдая за тем, как его кожа натягивается или обвисает, в зависимости от того, принадлежит он к лагерю толстых или к лагерю худых.

В то время я еще был доблестным рыцарем и скакал вдогонку за химерами, готовый пронзить шпагой все человечество, свою собаку, своего брата, служанок и кюре; учителей же мне хотелось растоптать и унижить. Теперь, уже на закате жизни, достигнув вершины человеческой подлости, я могу поздравить себя с тем, что этого не сделал, и я об этом нисколько не жалею, за исключением, быть может, учителей.



Тетя Урсула делилась со мной своим опытом, выдавала мне своеобразные максимы, рецепты на все случаи жизни: не плакать, всегда и везде оставаться свободным. Помнить, что всегда есть что-то еще худшее, потоп после потопа, могила после могилы. Нужно быть готовым покинуть дом с пустыми руками, идти прямо, собирать камни и комья земли, палые листья и сухие сучья. Все эти образы мне нужно было запомнить. Зафиксировать все мелочи, сложить их в кучу, сохранить куски земли так, как если бы это было

золото, крошечные пылинки и большие грубые камни, я должен был собирать их всюду, где бы ни оказался.

Мне надлежало с одинаковым удовольствием научиться преодолевать склоны, овраги и плоскогорья, бесплодную дику скалистую местность, я не должен был гнушаться ни перегноем, ни мхом. Не пренебрегать грязью, лужами и камнями, дабы превратить свою бесплодную почву в плодородную цветущую долину. Никогда не возвращаться назад, все время вперед и только вперед, и никогда не закрывать глаза, разве что на смертном одре. Небольшой свод правил для путников больших дорог. Идти без сумы и без посоха, надеясь только на землю и на траву, да еще на деревья, но ни в коем случае не на цветы, и никакой музыки, кроме тишины природы, этой единственной настоящей музыки, которую, в общем-то, никто не слышит.



Детство проходит столь же быстро, как и все остальное, это как улетевшая стая диких уток, о которых напоминают только запахи. С годами ты все стремительней начинаешь катиться вниз, забивать себе голову всякой чепухой, становишься все более и более озлобленным и все меньше и меньше веришь в Бога.

Каждый вкушает освященный хлеб детства. Мое прошлое промелькнуло, как вспышка и кошмарный сон, я видел, как рухнули тысячи карточных замков и громадных конструкций, возведенных только для того, чтобы убедить меня в том, что я мужчина и крепко стою на ногах.

Но теперь я стал еще беспомощнее, чем раньше, и мне ничего не остается, только запастись терпением и наблюдать за крушением своих последних надежд, которые созрели во мне в ту пору, когда вечерами меня, словно предмет из коллекции, укладывали спать в пуховую постель.

И все же, несмотря на то, что за прошедшие годы я стал рассудочнее и на мою голову обрушилось множество испытаний и смертей, я по-прежнему остался ребенком. Ведь я и сегодня продолжаю лепетать и учиться ходить, я открываю для себя разные вещи и прячусь от людей. Я хожу крадущейся походкой индейца племени сиу, нахожу для себя все новые и новые игрушки, и на мне все те же короткие штанишки.

Я не в состоянии изложить полностью историю моего отрочества, но она мало чем отличается от истории моего детства. Те же плохо усвоенные хорошие манеры, противоестественная тяга к самоистязанию, отвращение к другим и нигилизм.

В молодости я испытывал глубокую тоску по детству, которую заглушало желание побыстрее стать взрослым, я не сомневался, что мой путь будет усеян розами, но по мере того, как я переходил от мечты к реальности, практически все мои представления о жизни стали рушиться, ибо вокруг творились невероятные безумства.

После детства я вступил прямо в молодость, которая была не похожа на молодость других и еще менее похожа на воспоминания, которые я о ней сохранил, ибо человеческая память все разрушает и деформирует, а не сохраняет.

Это жалкое приключение кажется мне настолько убогим, что на него просто невозможно смотреть. Я бы предпочел отойти в сторону, закрыть глаза или описать свой конец, но о нем я могу поведать только в другой жизни, уже в аду.



Я помню белые пионы в комнате моей матери. Она ставила их в белые фарфоровые вазы у открытых окон, где на них дул свежий ветерок, а от опущенных оранжевых штор

падал оранжевый свет. В моем слабом сознании это запечатлелось гораздо ярче, чем все «Березины» вместе взятые, не говоря уже о призрачном будущем, до которого еще надо дожить.

Ибо луч света, падающий из приоткрытой двери в комнату, где я сплю, голос моей матери в маленьком салоне по соседству, волнующее ожидание летним вечером и шум чьих-то шагов по гравию под нашими окнами и через тысячу лет останутся для меня более впечатляющими свидетельствами исчезнувшей империи, чем каменные скалы и мраморные руины Италии.

Это как течение небольшой реки. В потоке той, что освежает глубину нашего сада, я вижу приплывший откуда-то издалека стебелек, он уже весь гладкий и наполовину истлевший. Он медленно уплывает к океану вместе с листьями и опавшими лепестками, на минуту его удерживает ветка, застрявшая в воде, потом столбик мостика и мостки для стирки, но затем его снова уносит течение, он проплывет мимо наших соседей, а этим вечером – еще дальше, мимо тех, кого мы не знаем, и так всю ночь, всю жизнь, и сам Цезарь не в силах остановить его. Мысли об этом успокаивают меня.



Помню, однажды, когда кошка упала с крыши, монахи соседнего монастыря подняли ужасный гвалт, вокруг было полно полицейских машин и машин скорой помощи с сиренами и вращающимися фарами. Казалось, что из-за этой ерунды само небо разверзлось как в День Страшного Суда. Я же не был ни монахиней, ни кошкой, ни змеей, и вся эта возня меня крайне потрясла. Когда в возрасте шести лет я упал в колодец, такого переполоха

не было, небо и земля не сотрясались от обращенных к Богу молитв, чтобы меня подняли наверх. Снизу, со дна колодца, я слышал раздававшиеся вверху вопли отца, который уверял, что никогда не видел подобного кретина и обещал лишить меня супа и отшлепать по заднице. А так как суп я никогда особенно не любил, то необходимость его есть была для меня гораздо большим наказанием. Впрочем, наша служанка Пепита неплохо его готовила: с тапиокой и хлебными корками.

Сидя по пояс в питьевой воде, из глубины колодца я видел круг голубого неба и голову моего отца, который вопил как одержимый. Но даже шестилетний ребенок способен оценить красоту подобных ситуаций, я бы сказал их возвышенность. В то мгновение передо мной промелькнула вся моя жизнь, и хотя, возможно, кому-нибудь это покажется не очень скромным, но я думаю, что обыкновенный ребенок не упал бы в этот колодец и уж, во всяком случае, он бы наверняка себе что-нибудь сломал и пронзительно визжал. Я не сомневался, что если бы я приручил гадюку, задушил ее своими руками перед целой армией центурионов, спас свою тонущую сестру или собаку, помог перейти через улицу тысячам слепых и вообще совершил еще какие-нибудь самые невероятные поступки, то ни один из них не мог бы сравниться по силе и красоте с тем, что я только что сделал.

А мой отец так не считал, и это событие прошло для него незамеченным. Вот если бы свидетелем этого был Плиний, он бы сумел оценить происшедшее по достоинству.



Из-за того, что я постоянно дергался, бился головой о стену и громко вопил безо всякой на то причины, меня,

в конце концов, решили показать врачам. Они пошептались между собой о смирительной рубашке и ближайшем от нас сумасшедшем доме поспокойнее и сказали, что мне нужны тишина и покой, тогда все еще может встать на свои места; их беспокоило состояние моих нервов и то, что я не такой, как другие. Таким образом, я еще раз убедился в том, что свобода не предназначена для тех, кто думает и говорит иначе, чем все, людей второго сорта, идиотов и калек.

Безусловно, и я был из таких ущербных личностей, которых все стыдятся и прячут от посторонних, как животных с лишней лапой, не вписывающихся в общее стадо, чтобы прихожане, выходя после службы из сельской церкви не тыкали в них пальцем; подобных уродцев следовало бы уничтожать прямо при рождении, дабы потом не мучиться и не ломать голову, как от них избавиться.

Для таких существуют специальные дома, очень тихие, с решетками и стенами, обитыми мягким материалом, располагающиеся подальше от дорог, чтобы никто не слышал воплей.

Вот туда меня и поместили, где среди самой разношерстной публики, людей всех возрастов, ростов и комплекций, я обрел новую семью.

Меня решили похоронить заживо, посчитав, что там, под присмотром белых халатов, успокоенный уколами, я, в конце концов, приду в норму, ибо сделать из человека идеального гражданина можно только лишив его дара речи, зрения и слуха.

Однако они забыли, что в моих жилах течет непокорная кровь, и есть еще Бог, который не бросает детей. Когда-нибудь я расскажу поподробнее о том, через что мне пришлось пройти, но не сейчас, а потом, когда буду у Последней Черты.

Пламя едва трепетало, но никогда не гасло. Я жил как пойманная в ловушку крыса, а по ночам, когда другие спали, строил фантастические планы побегов за океаны и моря, туда, где земля – вечнозеленый сад, орошаемый спокойными реками, и где обитают животные, которые любят друг друга.

Раз двадцать меня ловили на улице, после того, как я пытался убежать, я мчался к вокзалу с взъерошенными волосами, в ночной рубашке, развевающейся по ветру, бежал из сумасшедшего дома в другой мир, мчался, ничего не видя перед собой, как мертвец, убежавший из своей могилы.

В моем мозгу клокотали обрывки музыкальных фраз и несбывшихся надежд, и я цеплялся за двери ночи, дабы успеть в новый день, будто это и был новый сказочный мир.



Если у животного нет хвоста, отогнать от него мух может только Господь Бог.

Не доверяйте тем, кто умеет слишком хорошо говорить и во всем полагается на свой язык, ибо они вместо соболя могут всучить вам кролика, а вместо индюшки подсунуть крысу, такие любого могут заставить плясать под свою дудку.

Когда опаздываешь на поезд, то хочешь только одного – чтобы он сошел с рельсов.



На представлениях в цирке я плакал, в зоосаде я плакал еще сильнее, на детских утренниках мне было невыносимо

скучно, и я молча сидел в углу, но наибольшие страдания доставляли мне попытки заставить меня поиграть с товарищами. На самом деле никаких товарищей у меня не было. Больше всего я любил, оставшись в одиночестве, предаваться своим мрачным мыслям и анархистским мечтаниям о том, как я взорву мир, устроив из своих товарищей и учителей огромный фейерверк. Я ненавидел школу, эту гнусную казарму, которая была хуже тюрьмы, всех этих бесхвостых шакалов, которые учили меня абсолютно ненужным вещам, и всех своих сверстников, особенно хороших учеников и всеобщих любимчиков, которым я завидовал.

Симпатию я испытывал только к отверженным неудачникам вроде меня, маленьким недоноскам, которым лучше было бы вовсе не рождаться, уродливым, рыжим, туберкулезным, к тем, над кем все смеялись, одетым в заплатанные брюки, рваные ботинки. Я любил только тех, чьи матери были так же уродливы, как и их дети, поэтому ненавидел Дюбуа, которого у порога школы встречала вся расфуфыренная и размалеванная, как дама полусвета, мамаша в огромной шляпе и на высоких каблуках. Ничуть не меньше я ненавидел Буланже, который бегал быстрее всех, лучше всех в классе играл в мяч и делал упражнения на брусьях. Не отдавая себе в том отчета, я завидовал и Дюбуа, и Буланже, мне хотелось, чтобы они исчезли, скрылись под землей, особенно мамаша Дюбуа, до которой моей матери было далеко.

Мысленно я неоднократно представлял, как эта вертихвостка поддыхает прямо у меня на глазах. Мне хотелось, чтобы однажды, при самом большом скоплении народу, в субботу, у выхода из школы, или в день первого причастия, она подвернула себе ногу и упала в канаву вместе со своей крокодиловой сумкой, белыми перчатками и серебряными лисами. Это был бы самый прекрасный

день в моей жизни, за который я до конца своих дней готов был бы благодарить Бога.



С раннего детства Жюлиус не желал считаться ни с кем и ни с чем. Он все время против чего-нибудь бунтовал. Но неужели этот революционер всерьез думал, что наш мир должен стать помойкой? Он нарочно громко выпускал газы в церкви, так как нам сказали, что это смертный грех. Мисс Гарднер это ужасало, она краснела до корней волос и делала вид, будто ничего не слышит. Не осмеливаясь заткнуть нос, она, прикрыв лицо молитвенником, незаметно оглядывалась по сторонам, дабы убедиться, что другие семьи ничего не заметили. В Кабуре нас все знали, поэтому для нас это было бы страшным позором. На самом деле, это было и не красиво, и не смешно, но я все равно тайком смеялся и считал, что Жюлиус совершил замечательный отважный поступок. Я хорошо помню, как однажды на пляже перед полдником она предложила ему сходить в море пописать, а потом вернуться за стол. Он сделал вид, что пописал. Она, ничего не подозревая, посадила его себе на колени и завязала ему вокруг шеи салфетку. В тот же миг он написал на ее белое платье из джерси, при этом у него был такой вид, будто он ничего не заметил, и лишь слабая улыбка в уголке рта на его ангельском личике как бы предупреждала меня о том, что драма уже началась и я должен внимательно следить за ее развитием, чтобы ничего не упустить. Конечно, мисс Гарднер не стала кричать, так как вокруг было много семей, которые нас знали. Но зато какой у нее был вид! Она тихонько повела его мыться и окунула в наказание задом в воду, отчего он завопил так, будто его

режут, потом снова вернулась и села рядом с нами на песок с отрешенным видом, но с живописным пятном на юбке, причем в самом что ни на есть неподходящем месте. Пятно бросалось в глаза и свидетельствовало об ее неаккуратности. Жюлиус придумал воистину великолепную шутку, совершив преступление, заранее зная, что в нем будет обвинен другой.



Мы с отцом всегда путешествовали в поезде, даже если пункт назначения находился в двух шагах от нас. Он любил железные дороги, вокзалы, паровозы и вообще все, что связано с поездом, вплоть до запаха туалетов в конце вагона. Он хотел бы водить поезда сам, чтобы возить только нас, Жюлиуса, мою мать, мою сестру и меня, но безо всякого расписания, с правом останавливаться, сходить с рельсов, устраивать пикники, разворачиваться, следовать направо или налево, когда захочется, даже тогда, когда рельсы ведут только прямо, в общем, обращаться с поездом так, как он обращался со своей лошадью до 14 года, когда был гусаром в 8-м полку.

В поездах мы ели крутые яйца с солью и молочным хлебом. Пили из горлышка теплый и шипевший как шампанское лимонад, передавая бутылку из рук в руки. Потом мы обязательно складывали все остатки в корзину, накрытую салфеткой в клеточку.

Больше всего мне нравилось высовывать голову в открытое окно вагона и подставлять свое лицо встречному ветру, который прерывал мое дыхание и забивал мне глаза угольной крошкой. Я вдыхал запах угля и вслушивался в тяжелое дыхание локомотива. Это была жизнь, напоминавшая кино и, сам того не понимая, так я утолял свою жажду приключений.

Трудно передать то чувство, которое я испытывал, когда поезд останавливался на какой-нибудь станции, всякий раз это сопровождалось суматохой, сутолокой, шумом, громкими криками начальника станции, его свистками, хлопаньем дверей, и, наконец, какое волнение я чувствовал, когда поезд снова трогался с места, всегда немного неловко, со скрежетом и лязгом вагонов.

Мой отец смотрел на свои часы в жилетном кармане, сверяя время с расписанием, жалел, что не захватил с собой компас и вообще вел себя так, будто он знаменитый врач Шарко, что вызывало насмешки моей матери, которая всегда покорно подчинялась судьбе.

Время от времени навстречу нам проносился скорый поезд. Вот это было зрелище! В воображении сразу же возникали образы людей, которых он вез откуда-то издалека и которые говорили на незнакомых языках, элегантных женщин и детей богатых родителей со своими нянями. Так мы запасались впечатлениями на всю зиму.

Подъезжая к пункту назначения, мы начинали упаковывать вещи, надевать кепки, пальто и перчатки, мой отец вытаскивал чемоданы и складывал их в коридоре, у дверей. У нас было мало времени, чтобы выйти и вытащить за собой весь этот хлам, к тому же мы должны были протискиваться между толпящихся у выхода людей, у которых тоже были дети и вещи.

Если мы ехали на восток, то у вокзала нас всегда ждал «крайслер» дяди Тома с шофером, который нес наши чемоданы, сумки и одеяла.

Тут начиналось самое невероятное, нечто вроде сна наяву, но об этом я расскажу как-нибудь в другой раз, пока я к этому еще не готов.



Когда, наплевав на экологию, власти решили осушить озеро, больше всего пострадала наша семья. В самом начале осушительных работ перемены еще не бросались в глаза, и мы продолжали кататься на лодке, хотя ее дно часто скребло по песку, а вокруг чувствовался пугающий запах тины. Так как наш дом располагался на берегу озера, мы оказались вовлечены в грандиозные операции с недвижимостью, вскоре все было продано: китайская мебель, персидские ковры, пляжное оборудование, – и естественно, за бесценок. С негодованием собрав свои чемоданы, мы уехали на поезде с мыслями о прошлом и без каких-либо определенных планов на будущее. Мы просто возвращались в Париж, как бараны, бараны с чемоданами, вот и все.

Моя мать, всегда такая говорливая, тихонько плакала, на плече у нее висела огромная сумка, в которой она спрятала самые ценные вещи, иконы, серебро, деньги от продажи дома и наши пляжные костюмы.

Бывают такие невыносимые моменты в жизни, когда тебе нечего сказать и слышно, как рядом с тобой дышат другие. Это всегда так ужасно, когда ты слышишь, как дышат другие. Обычно люди не слышат чужого дыхания, оно заглушается словами и смехом. И только когда человек умирает, все внимательно вслушиваются в его дыхание. Так уж устроен мир, что многие обычные, естественные вещи напоминают о себе только в момент гибели, ведь и деревья мы замечаем лишь тогда, когда они с треском и страшным шумом валятся на землю, но до этого момента о них как-то не думаешь, а просто ходишь и наслаждаешься их красотой.

Поезд сломался где-то между Мондидье-сюр-Луар и Сент-Филибер, он остановился прямо в чистом поле, где жара была просто невыносимой. Никто ничего не знал, проводники куда-то исчезли, и только тяжелое дыхание

локомотива как бы говорило присутствовавшим, что он не в состоянии двигаться дальше. Как всегда бывает в подобных случаях, люди толпились у окон и задавали друг другу глупые вопросы. Мой отец тоже не знал, что случилось, но все равно старался нас успокоить. Однако после смерти озера от его былой уверенности в себе не осталось и следа. Эта история сильно подействовала на него. Наш капитан, который всегда был таким мудрым и знающим, казался утомленным.

В соседнем купе везли собаку и корзину с курами. Во времена паровозов их присутствие в поездах было обычным явлением, но со временем они оттуда исчезли. Сегодня их появление вызывало бы всеобщее удивление, на них стали бы показывать пальцем, а в то время на них не обращали внимания. Животные хотели пить, собака высунула язык, а куры дышали так лихорадочно, что, казалось, вот-вот сдохнут. Мой отец, по доброте душевной, хотел было вытащить из сумки дорожную флягу и дать напиться собаке и курам, но моя мать неожиданно с остервенением набросилась на него, просто, как настоящая фурия, вагнеровская Валькирия. Она заставила его спрятать флягу назад в сумку, язвительно напомнив ему о том, что у него есть еще и дети, все присутствовавшие при этом одобрительно захихикали, и с жадностью проводили флягу глазами. Воду из туалетов было пить нельзя, так что, если поезд в ближайшее время не тронется и жара не спадет, ситуация могла принять весьма драматичный оборот. Наши попутчики вполне были способны убить нас из-за этой фляги. Люди с такими лицами, как у них, способны были убить и из-за меньшего. Мой брат и я не отличались особой отвагой, в наших жилах текла собачья кровь. Но мы сами были виноваты: если бы мы поступили как все, ни о чем не думали и не взяли с собой флягу, если бы не эта наша чертова предусмотрительность, мы бы

сейчас не находились на грани гибели. Медленно, с жалобным стоном, будто все оси у него заржавели, поезд снова тихонько тронулся, и мой отец, чтобы всех успокоить, произнес свою обычную сентенцию: «Ну что ж, как говорится, тише едешь – дальше будешь!»

Моя мать снова приняла свой отрешенный задумчивый вид, и только слегка повела плечами в знак того, что она согласна с моим отцом. Все остальные не проронили ни слова, оставшуюся часть пути мы преодолели без каких-либо новых происшествий, если не считать того, что по прибытии в Париж обнаружилось, что три курицы из пяти умерли, и их смерть была на совести моей матери. Вагон мы покидали с флягой, полной воды, а все пассажиры глядели на нас и ухмылялись. Нам хотелось поскорее скрыться в метро, мы чувствовали себя убийцами.



Дружба моего отца с профессором Карамелосом многое изменила в нашем доме. Мой отец, в общем-то, всегда уверенный в себе человек с твердыми принципами, в которых его воспитывали с самого детства, поначалу пытался противостоять сильной личности профессора, радикальные идеи которого могли бы испугать и отъявленных вольнодумцев. Рожденный в Олимпии от опустившихся родителей (его отец был извращенцем, а мать предавалась абсенту и полиандрии), Карамелос всему выучился сам, от манеры говорить до умения держаться за столом. Ибо его родители не в состоянии были научить его тому, что должен знать воспитанный и культурный человек, дабы иметь возможность приятно проводить время в хорошем обществе.

Люди, которых плохо воспитывали собственные родители, всегда имеют склонность к воспитанию чужих

детей. Вот и Карамелос с юности испытывал сильную тягу к образованию, что позволило ему сделать блестящую карьеру в университете, где ему поручили читать сразу несколько курсов, затем он защитил диссертацию по онанизму на кафедре международного университета в Пинкертоне, став крупнейшим специалистом в этой сфере, одновременно он был членом-корреспондентом сразу нескольких академий и доктором *honoris causa* в университетах Монтаржи и Питивье. Не говоря уже о том, что он был автором фундаментальных исследований «Онанизм в сравнительном международном праве» и «История онанизма», которые теперь считаются классическими.

У Карамелоса на все были свои оригинальные воззрения, начиная с питания и сопротивления человеческого организма боли, теплу, холоду и страхам, и кончая моралью, политикой, религией, философией и историей нравов; главным для него было, чтобы его мысли отличались от того, что думают остальные, ибо он был убежден, что ближе всех к истине находится тот, кто мыслит не так, как все.

Он считал, что XX век задыхается от конформизма и нетерпимости, а человечество вплотную приблизилось к окончательному маразму. Больше всего он любил обращаться к античной истории, дабы более наглядно продемонстрировать отупление масс, вырождение элиты и общую деградацию человека и человечества в сравнении с древними греками.

Вторжение профессора в нашу семью главным образом повлияло на наше воспитание. До этого момента наш отец стремился научить нас думать так же, как все, ибо в таком духе его в свое время воспитывали самого, теперь же он стремительно изменил свои взгляды и, следуя главному принципу профессора, стал учить нас никогда не думать как остальные, дабы сохранить нашу индивидуальность и

попытаться сделать из каждого единственное и неповторимое существо, а именно неких не поддающихся классификации и ни на что не годных монстров. Раньше отец все время давил на нас, теперь же он отказался от побоев и принуждения и, не обращая внимания на мнение окружающих, позволил нам расти, как придорожной траве. Таким образом, теперь нас воспитывали не так, как других, а совсем иначе.

Если детям в школе говорили одно, то нас учили прямо противоположному, во всяком случае, в сфере гуманитарных знаний, ибо сделать круг из прямой линии или треугольник с четырьмя углами, а также изменить метрическую систему наш отец был не в состоянии. Он очень жалел об этом, но сделать ничего не мог, а вот с философией или даже историей обращался свободно, в результате чего я и провалил все свои экзамены в школе. По этой же причине, в конце концов, я решил сосредоточиться на изучении математики и квантовой физики, о которых он ничего не слышал и изменить которые был не в силах.

Чуть позже я расскажу о том, как закалялся дух, воспитывалось наше тело, о нашем физическом воспитании и режиме питания, так же оказавшихся под сильным воздействием идей профессора, которое, несмотря на некоторые издержки, лично я считаю достаточно благоприятным. Ну а что касается издержек, то, как говорится, «не помучишься – не научишься».

Так продолжалось несколько лет, а затем профессор исчез, столь же неожиданно, как и появился. Что с ним потом стало – никто не знает. Он отдалился от нашей семьи, куда то стал надолго пропадать, а затем и вовсе перестал бывать у нас. Спустя несколько лет мы узнали, что у него в Англии были какие-то неприятности и его даже упрятали в лондонскую тюрьму «Олд Бейли» за содомию, но даже если это так, это не умаляет его достоинств как воспитателя.

Ведь именно ему я обязан своим железным здоровьем, а то, что зимой я чувствую себя точно так же, как и весной, так это только потому что, следуя его советам, мой отец научил меня с юных лет не обращать внимания на погодные условия.

Для профессора тело было лишь инструментом духа, простым посредником. А, следовательно, он учил вас делать противоположное тому, что делают другие люди, которые являются рабами своего тела вместо того, чтобы быть его хозяевами. Тело хочет пить, и ты даешь ему пить, тело хочет есть, и ты его кормишь, ему холодно – ты его укутываешь, оно хочет спать – ты спишь, а когда оно устает, ты даешь ему отдохнуть. Действуя таким образом, ты приобретаешь самые что ни на есть вредные привычки, позволяешь ему командовать собой, распускаешь его, и чем больше ты склоняешься перед его желаниями, тем сильнее они становятся.

Если же дети с раннего возраста привыкают давать своему телу всевозможные упражнения и ежедневно их выполняют, постепенно они становятся способны делать с ним почти все, что захотят, гнуть его, изгибать во всех направлениях, свободно переносить всевозможные лишения, жару, холод, голод, усталость; их тело становится инструментом, в котором так нуждается разум, чтобы действовать совершенно свободно.

Ключ к освобождению разума заключается в порабощении тела.

В конце концов, тело начинает находить в этом своеобразное удовольствие и сладостный мазохизм, и чем больше ты его принуждаешь, тем легче и свободнее оно становится – бодрое, вольное и счастливое. Что же касается духа, то освобожденный от любого физического принуждения и затуманенности, которая является их неизбежным последствием, он тоже обретает способность

изменяться, проникать, путешествовать, парить и действовать так, как ему хочется, прибегая в случае необходимости к услугам гибкого и во всем ему послушного тела.

Конечно, со временем кожа покрывается морщинами, все механизмы изнашиваются, волосы белеют и выпадают, зрение ухудшается, слух притупляется, но свободные тела и в старости остаются королями дряхлого мира, они по-прежнему отличаются от остальных, как одноглазые отличаются от слепцов или старые волки от старых собак.

По совету Карамелоса у нас дома были остановлены все часы, но не для того, чтобы остановить стремительное движение времени, а чтобы научиться ориентироваться в нем самостоятельно, вернуться к природе, уподобиться неандертальцам и отринуть от себя власть машин. Последнее желание нас вдохновляло больше всего. Мы научились определять время по солнцу и обходиться без часов, мы снова вернулись к своему первозданному состоянию и хуже от этого не стали.

Дабы заставить свою память работать, как в доисторические времена, мы убрали все календари. Эти почтовые альманахи были нам больше не нужны, ибо мы всё помнили и без них и знали, какой у нас сегодня день и сколько времени прошло после рождества Христова. В этом отношении мы на голову превзошли остальных детей, которые пользовались наручными часами и календарями.

Более того, все это способствовало развитию наших животных инстинктов, в то время как у остальных их наоборот всячески старались заглушить хорошим воспитанием.

И действительно, хорошо воспитанные люди никогда не подчиняются своим инстинктам и рефлексам, а действуют в соответствии с требованиями эпохи, среды и обстоятельств. Такие мужчины и женщины, привыкшие автоматически контролировать каждый свой жест, подавлять в

себе любые желания и порывы сердца, выглядят крайне противоестественно. Они подобны машинам и подвержены механическим повреждениям, в то время как у нас дома нам позволяли быть такими, какими нас сотворил Господь Бог.

Мы ни в чем не насильствовали себя, в наших огромных сердцах было место для любой твари, включая пауков, чтобы узнать время и погоду следующего дня, мы обращали свой взор к небесам, и это был нормальный ход вещей, который не следовало нарушать, ибо мы получали естественное воспитание, о котором современные люди давно забыли.

Кюре, который прослышал о том, что происходит в нашем доме, каждое воскресенье публично призывал нас к порядку: «Берегитесь инстинктов, – говорил он в своих проповедях, – это в лучшем случае ведет в исповедальню, в худшем – в суд, в тюрьму, а, может быть, даже и на эшафот, учитесь, братья мои, усмирять свои инстинкты, опасайтесь их, как холеры, живите не как животные, но как дети Бога, по принципам святого Евангелия».

Так пытались потревожить наше тихое болото, причем не просто легким касанием кончика туфли, а тяжелым сапогом деревенского кюре. В конечном счете, он предрек нам ад, в который мы должны были попасть, пройдя через местный централ и гильотину: столь ужасная перспектива леденила души прихожан и заставляла думать, что Бог создал человека по образу дьявола, причем только для того, чтобы доставить удовольствие духовенству.

Если бы наш школьный учитель не был атеистом и республиканцем, то, придя на воскресную мессу, он бы, вероятно, получил истинное наслаждение от этих потоков слов, но Жюль Ферри в церковь не ходил. Что ж, тем хуже для него.

Наша семья выходила с мессы с высоко поднятой головой. В соответствии с принципами нашего воспитания, мы должны были идти не вдоль стен, а прямо по середине улицы, где мы шествовали за своим отцом, как утки за селезнем: во всяком случае, мы не обтирали трусливо стены, как воры, и у нас не было чесотки.

Мы чувствовали себя истинными сынами Бога; впрочем, и другие были такими же, но они меньше отдавали себе в этом отчет. Лично я в этом не сомневался и в душе гордился этим; остальным же, даже если они и не были полными ничтожествами, было до нас далеко.



В своем стремлении воспитать нас не похожими на других наши наставники зашли столь далеко, что требовали от нас, чтобы свою агрессию мы обращали на самих себя, а с посторонними, наоборот, вели себя дружелюбно.

Естественно, человек, находящийся в ссоре с самим собой, рискует весь день ничего не делать, а только лежать и спать. Приветливость по отношению к другим – безусловно, более разумный принцип поведения, чреватый, однако, чрезмерной от них зависимостью. Порой нужно уметь выйти, взять бульжник и бросить его в морду ближнего. Именно поэтому, вопреки воле моего отца, я всегда предпочитал держаться от окружающих подальше.

Любое высокоорганизованное общество, особенно демократическое – это джунгли. Ибо в джунглях царит порядок, не допускающий ни малейшей анархии. Хозяином там является самый сильный, тот, кто послабее, пожирает еще более слабых, чем он сам, ну а полным идиотам остается есть траву.

Поэтому надо постоянно быть начеку и пожирать других, иначе сожрут тебя самого. Можно, конечно,

отмахнуться от правды и принять общую мораль, смешавшись со стадом, начать покорно отгонять от себя блох и смахивать пыль, или же наоборот, презрев приличия, послать подальше всех этих профессоров и судей. Тогда можно вздохнуть свободно и спокойно есть траву.



В соответствии с теорией, что маленький микроб прогоняет большого, нашей кухарке были даны указания не чистить и не мыть овощи. Как только слухи об этом дошли до наших соседей, они стали отдавать нам свои очистки и часть хозяйственных отходов, которые всегда с радостью принимали у нас в доме. Моя мать подозревала, что отец по ночам сам ходил рыться в мусорных бачках, но никаких доказательств не нашлось. Впрочем, вскоре, когда многие живущие неподалеку семьи начали нам подражать, в мусорных баках уже нечего стало искать. Популярность очистков возросла настолько, что их попросту перестали выбрасывать. Видя, что мы прекрасно растем и развиваемся, многие начали интересоваться у родителей, каковы секреты нашего столь превосходного здоровья. Информация растекалась, как масляное пятно по воде, и вскоре вся община объединилась вокруг нашего дома, а отец стал ее первосвященником. Правда, до конца всего никто не знал. Мы были предусмотрительны и не собирались рассказывать обо всем, что происходит у нас в доме. Какой-нибудь дурак по глупости мог наболтать лишнего в полиции, и у нас были бы неприятности. Что касается очистков, то с ними как раз все было довольно просто: вреда они никому не причиняли, а пользу от них можно было даже научно обосновать. Витамины ведь находятся не в той части овощей, которую едят, а в той, которую выбрасывают: в очистках моркови, картофеля, в

капустных кочерыжках. Как только об этом все узнали – отбросы практически исчезли. Во всей округе стало невозможно найти ни одной кочерыжки, ни одного очистка.

Но потом люди стали набрасываться на лежалые продукты, на протухшее мясо, прокисшее молоко и гнилую рыбу, и все из-за их антибактериальной ценности, поставив тем самым под угрозу существование современной фармакологии. Прежде чем есть продукты, люди ждали, пока они изменят свой цвет, появится плесень, начнутся гнилостные процессы, а оттуда, где они хранятся, начнут доноситься специфические запахи, и, конечно же, перед употреблением продукты обливались болотной водой.

Наша община никому не причинила вреда, мы вели мирный образ жизни, платили налоги, никому не мешали, и все это продолжалось бы вечно, если бы у Жан-Поля Жолибуа, сынка отставного железнодорожника Северных путей не проступили бы вдруг на лице отвратительные коричневые пятна, после чего его пробрали такой понос и такая ужасная рвота, каких еще никто никогда не видел.

«Вот свинья, – сокрушался мой отец, – теперь из-за него неприятностей не оберешься!» Ведь всего один грязный вонючий ублюдок, вроде этого Жолибуа, способен был скомпрометировать наш уникальный научный эксперимент, отбросить нас во времена Пастера, к допотопным представлениям о диетическом питании.

В субботу вечером, когда мы увидели, как прибывает «скорая помощь», мы поняли, что Пастер победил и скоро к нам явятся жандармы.

Никогда не забуду, как эти палачи в фуражках и грязных сапогах ввалились к нам, оставляя следы на наших начищенных полах и восточных коврах, эти злобные тупые инквизиторы грозили нам тюрьмой, ссылаясь на неоказание помощи лицу, находящемуся в опасности,

непреднамеренное убийство, а так же нелегальное занятие медициной и плохое обращение с детьми.

Я сразу же заявил, что мы очень счастливы, не хотим есть ничего другого, нам нравится бегать голыми по снегу и вообще, все у нас хорошо и мы ни у кого ничего не просим.

Кажется, главного среди них это впечатлило. И действительно, мы излучали здоровье. А сами они, прыщавые, раздувшиеся, как сосиски, с налитыми кровью красными лицами выглядели далеко не столь здоровыми, как мы. Мы предложили им устроиться поудобнее, расстегнуть куртки, расслабиться, снять сапоги, чтобы дать отдохнуть и подышать ногам. Они недоверчиво смотрели на нас, не зная, как реагировать на наши предложения: как на оскорбление чиновника при исполнении служебных обязанностей или как на проявление гостеприимства. Наконец, поняв, что им никто не желает зла, они скинули с себя фуражки и куртки, а один даже снял сапоги. Мы угостили их отваром из желудей с бергамотом, который им очень понравился, после чего мы смогли спокойнее рассказать о нашем воспитании, разъяснив некоторые его особенности; правда, кое о чем мы все же предпочли умолчать.

Главный позвонил прокурору Республики, дабы обсудить с ним распоряжение об аресте отца.

– Да, да, господин Прокурор, они действительно все полуголые в неотопляемом доме. Они ничего не ели со вчерашнего вечера, но они не голодны.

–

– Нет, нет, господин Прокурор, тут нет дурного запаха, не больше, чем в любом другом доме.

–

– Никак нет, господин Прокурор, ни у детей, ни у женщин следов побоев нет. У них у всех совершенно счастливый и здоровый вид. Папаша слегка с приветом, но не более того.

– ...

Обыскав дом, жандармы застряли в коридоре возле подвешенных там огромных крючьев и стали доносить нас вопросами, зачем здесь эти крючья и не готовимся ли мы к коллективному самоубийству а-ля Геббельс. Мы молчали, так как объяснять что-либо им все равно было бесполезно – они ничего не понимали и принимали нас за сумасшедших. Имеющий уши да услышит, тот же, кто ничего не хочет слышать и понимать, пусть остается в своем неведении, ему уже не поможешь.

Бессмысленно было объяснять им, что тело – это огромный замкнутый сосуд, внутри которого постоянно совершается кровообращение. Из-за своего веса кровь имеет тенденцию опускаться вниз, несмотря на то, что сердце разгоняет ее во всех направлениях. Оттого, что человек обычно стоит или сидит, в ногах скапливается больше крови, чем в голове. Чтобы облегчить кровоснабжение головы, нужно как можно чаще опускать ее вниз, а ноги поднимать вверх, и проще всего это сделать, подвесив себя за ноги. Вот для этого тут и были крючья, ибо на них мы обычно подвешивались, дабы орошать кровью свои мозги, зубы, волосы, уши и глаза. Подвешивая себя за ноги, глухие могли бы вернуть себе слух, лысые – волосы, слепые – зрение, а идиоты, соответственно, стать умнее.

Более того, мой отец понимал, что не только кровь, но и наиболее весомые идеи задерживаются в ногах, вместо того, чтобы подняться в мозг. Он не сомневался, что достаточно перевернуть тело, наподобие песочных часов, и человек вместе с кровью ощутит в голове настоящий наплыв идей; теория в научном отношении весьма спорная, но нам она нравилась, так как делала нас еще более непохожими на остальных. Впрочем, все это не мешало моему отцу ни тихо лысеть, ни быть тугим на одно ухо. Самое важное в любых теориях – это вера в них.

Необходимо верить в достоверность того, что пишешь, так же как в то, что твоя деятельность имеет ценность для других и ты движешься в нужном направлении.

На этой вере и основывалось наше висение вниз головой и наша теория песочных часов! Слезая с крючьев, мы устремлялись к своим тетрадам, дабы успеть записать пришедшие нам в голову мысли, пока они снова не ушли в ноги.

Столь необычное времяпрепровождение делало нашу юность по-настоящему прекрасной! Мы въезжали в жизнь в золотой карете, а головы наши были среди звезд. Мы чувствовали себя королями мира.



Эти чертовы куски постепенно отрываются один за другим и падают в бездну, как камни с древних скал. Когда-нибудь все они окончательно исчезнут вместе со мной. Так уж заведено, что от этих прелестных воспоминаний, крупных огорчений и маленьких радостей, сопровождавшихся взрывами смеха и потоками слез, всех этих головокружительных взлетов и падений, без которых не обходится ни одно детство, когда-нибудь не останется и следа. После моего ухода сохранятся только эти пожелтевшие фотографии и старые фильмы, но кто сможет узнать на них меня?

Маленький желтый мальчик в купальнике на пляже, с волосами, выющимися, как у девочки, стоит рядом с красивой женщиной, – вероятно, его матерью. Чуть дальше – двое мужчин в купальных костюмах, похожие на цирковых борцов, ну а совсем вдалеке – другие дети, играющие в песке, и прохожие, прогуливающиеся по мосткам в летних нарядах.

Как это огромно и, вместе с тем, ничтожно! С появлением кино все начали двигаться, все эти марионетки

оживают. Их всех заглатывает камера, эта машина способная победить время и оживить мертвых, которые снова ходят по мосткам, радуются хорошей погоде, последним дням отпуска и приливу. Моя мать, вся такая красивая и сияющая, снимает свой пенюар и идет купаться, она уплывает далеко в море, до самых кораблей, потом возвращается к нам и снимает свою купальную шапочку. Чтобы согреться, в кабинке для переодевания она выпивает рюмку очень сладкого вина с апельсиновой кожурой, которое моя бабушка приготовила специально для купальщиков, потом мы собираем свои игрушки, закрываем кабину и возвращаемся на виллу ужинать и мыться. Какая простая была тогда жизнь! Дни шли своей чередой, и никому из детей даже в голову не могло прийти, что все они находятся у самого конца мира, который вскоре будет полностью уничтожен войной.



Война застигла нас в Кабуре, в день нашего первого причастия. Для детей нашего возраста это слово было лишено всякого смысла, хотя наши родители все время про нее говорили, постоянно в своих разговорах склоняя на все лады имена Гитлера, Гамелена, Даладье, Петэна, Муссолини, Лебрена, Эдена и других, которые появлялись и исчезали за семейным столом, как появляются и исчезают марионетки на сцене. Полишинель отлупил жандарма, который в свою очередь отлупил Полишинеля, и не более того. Конечно, мы уехали из Парижа в Нормандию, где каждое воскресенье по радио слушали проповеди монсеньера Барано из Нотр-Дама, имя которого в моем детском мозгу невольно вызывало образ некоего священного барана, стоящего посередине собора в нимбе из солнечных лучей, падающих на него через витражи.

Тетя Урсула рассказывала нам о Первой мировой войне и о войне семидесятого года. Стоило ее как следует попросить, и она начинала рассказывать об Аустерлице и крестовых походах.

Косвенным образом мы тоже были участниками начавшегося сражения, так как мсье Пено пригласил нас с Жюлиусом в свой хор, где мы пели «В поход на Лотарингию» и «Линия Зигфрида будет нашей».

Слова этих песен вселяли в нас уверенность в победе. Под конец все присутствовавшие в зале вскакивали со своих мест и начинали петь «Марсельезу». Я чувствовал себя сыном Отчизны, слышал стоны вражеских солдат и видел, как их нечистая кровь обагрывает борозды наших полей. Мы пели о том, что линия Зигфрида будет нашей, а в это время боши переходили линию Мажино.

В день первого причастия я был в форме Итонского колледжа в белых перчатках, с молитвенником в левой руке, на которой была повязана белая повязка, и со свечой – в правой. Если в христианстве был когда-либо хоть один святой, то это, вероятно, был я в этот день, настолько я верил в Бога, настолько был чист душой и телом и готов отправиться на небеса к ангелам. Без малейших колебаний я бы поднялся вместе с Жанной д'Арк на костер, позволил проткнуть себя стрелами, как святой Себастьян, или отдал свое тело на растерзание львам, настолько в то мгновение я верил, что получу место в раю и воскресну по правую руку от Господа. Как назло, воск стекал с моей свечи прямо мне на перчатку, на рукав и на брюки. Но я все равно был на седьмом небе от счастья, хотя самую церемонию мне сильно подпортило ужасное желание сходить по нужде, а в довершение всего в самый ответственный момент я уронил молитвенник и на некоторое время застыл в нерешительности, не зная, что нужно сделать сперва: поднять его или принять гостию. В результате я

сильно покраснел и чувствовал себя униженным, а веры у меня изрядно поубавилось.

По окончании мессы народ повалил на улицу, где стояла прекрасная погода, отчего яркие шляпы прихожанок, освещенные солнцем, придавали церковной паперти еще более праздничный вид и как бы приветствовали причащающихся, облаченных в девственные платъица, полусестер, полу-невест. Я же думал только о том, как бы пописать, и искал для этого укромный уголок, а между тем наши знакомые без конца предлагали мне сфотографироваться то с одним, то с другим, и отвязаться от них я не мог. Именно в тот момент, когда меня в очередной раз снимали, над нашими головами показались автожиры французской авиации. Все замахали им руками, восторженно приветствуя этих странных насекомых, предков современных вертолетов. Вдруг праздник превратился в языческую оргию, все стояли, задрав головы к небу, и орали: «Да здравствует армия!» Снова забрезжила надежда. Быть может, мы еще выиграем эту дерьмовую войну и вышвырнем фрицев пинком под зад, но тут раздался какой-то странный свист, за которым последовал страшной силы взрыв, бомба разорвалась где-то неподалеку от мэрии и школы. И вот уже папа, мама, причащающиеся, их родственники, бабушки, священник и дети из хора дружно повалились на землю и уткнулись носом в траву. Ах, что творилось вокруг! Я видел задравшиеся юбки и ляжки добропорядочных женщин, которые кувыркались на земле, среди прочих я даже успел заметить зад тети Урсулы и моей кузины (последний, впрочем, я уже видел раньше). Когда автожиры улетели и все кое-как поднялись, стало ясно, что праздник кончился. Так как убитых не было, пересчитали живых. Правда, школа все же пострадала. Позже мы узнали, что взорвалась бомба, которая была плохо закреплена на автожире. Священник не упустил

случая заявить, что произошло чудо, ибо в день первого причастия школа оказалась пуста: все были в церкви. А посему: если бы люди чаще ходили в церковь, войны были бы не столь опустошительны. Для меня в этот день игрушечная война закончилась и началась настоящая. Конечно, она была менее смешной, но мы все равно неплохо повеселились.



Эта проклятая война проходила без труб и барабанов. Просто у нас не было времени, чтобы трубить в фанфары, распространять фальшивые коммюнике, объявлять о фальшивых победах, поздравлять своих героев и награждать своих маршалов. Все сразу же наделали в штаны: и депутаты, и министры, и генералы, и папы, и мамы, и бонны, и дети. В общем, от всего этого очень дурно пахло всеобщим разложением и предательством. И старики, и молодежь выглядели одинаково дряхлыми и ни на что не годными. Настоящих же самоотверженных патриотов вроде тети Урсулы можно было пересчитать по пальцам. Будь в распоряжении тети Урсулы хотя бы два или три полка, несколько танков и самолетов, она бы в два счета выгнала бошей, вытолкала бы их из Франции взашей. От нее бы не ускользнул ни Гамелен, ни Блюм, ни Даладье. Она бы их всех сразу же расстреляла. Она-то уж знала, как навести вокруг порядок и устранить все имеющиеся неполадки и помехи.

Она ходила с таким видом, будто собирается расстрелять толпу из пулемета. В ней явно погибла первоклассная трагическая актриса. Голова Даладье – на одной пике, голова Гамелена – на другой, и оп, мы едем по Кабуру, гну савя походную песню. За нами бегут толпы людей, молодых, старых, даже женщины и собаки. В окрестных полях

кузнечики устроили в нашу честь настоящий концерт. Толпа вооружается и с диким ревом кидается на восток. По дороге мы подбираем всех попавшихся нам навстречу людей и формируем из них новые батальоны. Немцы бы сразу струсили, увидев такое, они же только и умеют, что жрать свой шукрут, они бы мгновенно отправились восwoяси, а мы бы освободили родину от этих каналий, и никакие американцы нам для этого бы не понадобились. Вот тогда мы бы повсюду восстановили монархию и вернули юре их влияние в обществе. Короче, мы бы выполнили свою историческую миссию.

В детстве война кажется праздником: не скучно, столько случаев посмеяться, посмотреть на людей, каждую ночь переезжаешь на новое место жительства – в общем, ведешь жизнь циркового артиста.

Честно говоря, я всегда страстно любил цирк. Я бы хотел, чтобы мать работала с лошадьми, мой отец был укротителем, а я сам – юным акробатом, Моцартом трапеции. К сожалению, мой отец на укротителя был явно не похож: если бы ему пришлось войти в клетку с дикими зверями, его бы тут же сожрали. А вот моя мать была просто создана для работы с лошадьми. Она бы и львов могла дрессировать. С такой осанкой и с таким властным характером, как у нее, она бы, я думаю, их сразу же себе подчинила, причем даже не повышая голоса. Властностью веяло от самого ее облика, так что шутить с ней, а тем более ей перечить, не рекомендовалось. Не только львы, но и медведи ходили бы у нее по струнке. Да что там говорить, она и диплодоков способна была заставить танцевать менуэт и петь хоралы Баха – ничего подобного в цирке еще не видели, но ей это было по плечу. Вместе с тем, в ней было столько грации и очарования, что птицы часто клевали у нее с руки, и даже если бы она стала укротительницей, больше

всего ей подошло бы работать с лошадьми, ибо рядом с ними она смотрелась эффектнее всего.

Ну а из моего отца, если уж на то пошло, пожалуй, вышел бы неплохой клоун. Используя свои способности к музыке, он мог бы сыграть и на аккордеоне, и на рожке, а поскольку он еще умел неподражаемо шутить, кривляться и падать, то успех у зрителей ему был гарантирован. Впрочем, своим светским знакомым я предпочитаю говорить, что из него вышел бы прекрасный укротитель, ибо это выглядит более мужественно и благородно. В некоторых случаях нужно уметь лгать, причем ложь должна быть хорошо продуманной, тщательно выверенной и не противоречащей здравому смыслу, такой, чтобы правда рядом с ней казалась лживой, гротескной и нереальной.

А я бы был акробатом и выступал с маленькой девочкой моего возраста, хрупкой очаровательной блондиночкой. Барабанная дробь смолкает, и в наступившей тишине мы вдвоем в свете прожекторов выходим на середину арены. Затем мы на маленьких серебряных трапециях поднимаемся под самый купол цирка и начинаем, изгибаясь по-кошачьи, прыгать с одной трапеции на другую в ослепительном свете пытающихся угнаться за нами лучей прожекторов. Это было бы восхитительное зрелище.

И Жюлиусу тоже нашлось бы место в цирке. Просто в любом обществе должны быть и бедные, и богатые, иначе нет никакого смысла быть богатым. Так уж устроен этот мир, что всем в нем хорошо быть не может. Я был бы маленьким акробатом, всеобщим любимцем, а Жюлиус – мальчиком на побегушках, и это было бы справедливо.

Много лет спустя я действительно стал заниматься акробатикой, научился ходить по канату. После этого многое мне стало казаться сущим пустяком. Детей следовало бы сначала учить ходить по канату, тогда бы и по земле люди стали перемещаться с поразительной легкостью,

не ковыляли бы кое-как, с трудом волоча за собой ноги, а ходили бы упругой элегантной стремительной походкой. И ноги бы у них были стройными и сильными, – в общем, такими, какими они и должны быть.



Все лавки на улице у моря были забиты всевозможными пляжными принадлежностями: мячами, соломенными шляпами, купальными костюмами, лопатками и ведерками для песка, полотенцами, шапочками и солнечными кремами.

Дети любят рассматривать эти предметы, так как они напоминают им о счастливой поре каникул, с которой им всегда так не хочется расставаться.

Мои каникулы в сороковом начались под стук кованых сапог. Никогда раньше я не видел такого скопления баскских беретов, как в июне сорокового года. А сколько было повсюду маленьких французских флагов и людей в военной форме! Все это должно было свидетельствовать о боевом духе французской нации. У всех были повязки, военные ботинки и прически, гетры цвета хаки, портупей, патронники без патронов и противогазы – такова была мода. Обыватели насвистывали бравые военные марши, постоянно передававшиеся по радио, упивались лозунгами и лживыми новостями, а сами с ужасом вглядывались в конец улицы, не появились ли там первые представители Вермахта. Всем повсюду мерещились шпионы; опасаясь их, люди старались никому ничего не говорить. Недаром ведь правительство заявило, что и у стен есть уши? Детям запретили подбирать конфеты на улицах, так как они могли быть отравлены, ведь немцы могли специально разбрасывать их по городу, чтобы уничтожить французскую молодежь. Брать конфеты от незнакомых людей нам тоже не разрешалось, ведь любой незнакомец

мог оказаться шпионом. Шпионы были за каждым деревом, в каждой деревне, они терлись повсюду, – в мэрии, в школах, на вокзалах, особенно среди представителей городской администрации. Таким образом, всем надлежало быть бдительными, повсюду царил подозрительность и психоз. Следовало постоянно быть начеку и внимательно следить за окружающими, при этом рот держать на замке и конфет ни от кого не брать, а вот военные марши, надев баскский берет, насвистывать было можно, отчего постепенно начинало казаться, что ты действительно участвуешь в войне и защищаешь родную территорию, как новобранцы времен Первой республики.

Ночью перед отъездом тетя Урсула напялила на себя свой фланелевый пояс, в который зашила золотые луидоры и монеты по двадцать долларов США. А из золотых слитков она сделала себе нечто вроде жилета, подвесив их над поясницей и под грудью, а так как места не хватило, она подвесила их себе еще на спину и вдоль бедер. После этого тетя Урсула стала стоять целое состояние, а весить 140 кило. Самостоятельно передвигаться она больше не могла, так как ноги ее не держали, ведь в руках у нее были еще две огромные кожаные сумки с серебром и драгоценностями, не говоря уже о перстнях на всех пальцах и деньгах, спрятанных на груди. Если бы она упала, ее бы пришлось поднимать вчетвером. Но зато теперь все ее тело, кроме головы, было отлично защищено от пуль и осколков картечи. Всем вместе, – моему отцу, матери и служанкам с большим трудом удалось усадить ее на заднее сиденье ситроена. Ее посадили посередине, чтобы машина не перекосилась. Однако она заняла все заднее сиденье, и туда не мог больше сесть никто, хотя в руках у нее были только сумка и противогаз. На колеса машины было страшно смотреть: не предназначенные для таких нагрузок шины сплющились и стали напоминать гусеницы

танка. В таком виде нас могли засечь бомбардировщики. Мы подвергали себя серьезному риску.

Мы медленно тронулись вдоль берега, стараясь не перевернуться на поворотах. На спусках машина притормаживала, иначе она бы помчалась вниз со скоростью болида, к тому же моя мать, которая вела ситроен, не имела разрешения на вождение тяжело груженого транспорта.

Мы ехали друг за другом, потушив фары: пежо, который вел мой отец – впереди, ситроен – сзади, у обеих машин на крышах были матрасы, так как мы не хотели отставать от других. Все наши сограждане везли с собой матрасы: не ковры, не перины, не подушки, не одеяла, а именно матрасы. И так как их невозможно было нигде разместить, кроме как на крыше машины, их использовали в качестве защиты от воздушных налетов. Если бы боши напали на наш караван, то матрасы укрыли бы нас от обстрела. Вот такая военная хитрость. Гитлеру и его генералам наверняка ничего подобного и в голову не могло прийти. Вот она, система «нишпель», на фоне которой меркнут и линия Мажино, и все другие оборонительные стратегии вместе взятые. Мы гордились своими матрасами, способными сдержать наступательный порыв Вермахта: так французская хитрость сокрушала бронированные дивизионы Гудериана. Пусть знают, что имеют дело с французами, которые еще себя покажут.

Из Кабура мы выехали в два часа ночи, светила полная луна и дул попутный ветер, а на Луаре мы были уже в полдень, благополучно миновав все заторы при проезде через деревни, мосты и перекрестки.



Можно ли найти для ребенка более увлекательное занятие, чем бегство?

Никогда еще дороги Франции не были столь живописны. Стояла прекрасная погода, это был настоящий праздник, повсюду мы встречали своих знакомых, старых друзей, приобретали новых, а как забавно выглядели машины! Множество клеток с птицами, попугаями, чижами и другими животными, огромное количество маятников, детские игрушки, велосипеды, на которые сверху были навалены меховые пальто, вечерние платья, шляпки, пылесосы, холодильники, зеркала и какие-то невообразимо жуткие картины!

Сломанные машины тоже были: одни стояли на обочине, другие валялись в канаве и коптились на солнце; в общем, были машины на любой вкус, в том числе и такие, у которых уже кончился бензин: как правило, это были те, что приехали издалека, – например, из Бельгии. К полудню мы останавливались, чтобы перекусить и охладить двигатель. Тем временем мимо нас нескончаемым потоком проезжали машины, телеги, повозки, которые мы к вечеру опять обгоняли. Моим отцу и матери, которые в любой обстановке продолжали оставаться господами, прислуживали служанки, они же подавали сэндвичи и тете Урсуле, сидевшей в ситроене, который та не хотела покидать из страха, что снова туда уже не сможет забраться. От жары она так раздулась, что стала напоминать огромный монумент.

Еды было не особенно много, но зато выпивки хватало у всех, и все учтиво угощали друг друга. «Не хотите ли немного порто?» «Попробуйте мой Сент-Эмилион и скажите мне, каков он на вкус». «Не желаете ли по стаканчику коньяку, дорогой друг?» В такую жару аперитивы, вина и ликеры поднимали настроение, люди начинали говорить и смеяться все громче и громче, хлопать друг друга по спине, – в общем, воцарялась замечательная атмосфера, как на пикнике, и, несмотря ни на что, все

снова начинали верить в победу: на сей раз этому способствовал коньяк.

Но стоило за лесом послышаться гулу самолетов, как сразу же воцарялась полная тишина, от только что царившего кругом веселья не оставалось и следа, все падали ничком на траву и лежали, уткнувшись носом в землю, до тех пор, пока пара самолетов с адским шумом не пронеслась над нашими головами на бреющем полете. Вот так бесславно заканчивались подобные пикники, все стремительно залезали в свои машины и отправлялись в южном направлении, о победе больше никто не говорил, все думали только о том, как бы поскорее унести отсюда ноги.

Из машины все выглядит совсем иначе. Проносящиеся мимо окон деревья, дома и деревни напоминают годы человеческой жизни. Только что шел дождь, и вот уже снова светит солнце, за каждым подъемом следует спуск, мимо проносятся километровые столбы, маленькие городки и большие города, которым не видно конца. А машина едет все дальше и дальше, мимо мэрий, мимо площадей с церквями, мимо равнодушных и испуганных людей, мимо животных на лугах, мимо лесов и полей, потом снова мимо лесов и снова мимо полей.

Ребенок не в состоянии долго следить за этой бесконечной сменой картинок за окнами, это напоминает кино, но немое, движущиеся фотографии. Нечто подобное видят и птицы, только им все это видно гораздо лучше, они смотрят на мир сверху, скользя по воздуху параллельно земле, едва шевеля крыльями. Когда они устают, они замедляют свой полет и отдыхают, как правило, сидя на телефонном проводе. Оттуда они наблюдают за проезжающими по дорогам автомобилями и работающими на полях человечками, на которых они по-прежнему смотрят сверху вниз.

Птицы бывают перелетными и оседлыми. В принципе, оседлые птицы никуда далеко не улетают, но это не так важно, ведь птицы все равно делают то, что хотят, находят стаю или летают в одиночку, они всегда свободны.

Лежа в траве, я готов часами смотреть на пролетающих надо мной птиц, я люблю дальние странствия, и эти стаи, рассекающие небеса, напоминают мне поезда, рассекающие поля, но более свободные и стремительные, они уносятся вдаль, за горизонт, к пескам и пальмам, а я остаюсь здесь лежать на спине. Одни птицы улетают, прилетают другие, я слышу, как где-то неподалеку в деревне звонит колокол, а совсем рядом у меня над ухом жужжит оса, слышу, как громко стучит сердце у меня в груди, и, закрыв глаза, на мгновение представляю, будто я умер.

На Луаре мы задержались недолго, так что в замке нам толком пожить не удалось. «Мы сделаны из другого теста, – все время твердила тетя Урсула, – нас так легко не испугаешь!» И хотя испугать нас было и нелегко, тем не менее, беженцы с Севера, особенно бельгийцы, рассказывали о немецкой оккупации настоящие ужасы.

«Придя в деревню, первым делом они ее сжигают, затем убивают все, что движется, в том числе и детей. Например, в Льеже они расстреляли пятнадцать детей, от десяти до четырнадцати лет, всех мальчиков, а девочек того же возраста всех изнасиловали. А вот в Намюре они развлекались, насилюя женщин восьмидесяти лет и старше. Собак они сажают на кол, а потом с наслаждением наблюдают, как те мучаются. И это еще далеко не все, что они вытворяют».

Мой отец говорил, что не нужно верить бельгийцам, так как они готовы трепаться до посинения, лишь бы только чем-нибудь поразить толпу и испугать детей.

Тем не менее, вскоре мы оставили Луару и двинулись в направлении Гаронны и Бидассона.

Тете Урсуле уже порядком надоело тащить на себе все эти вериги, она предпочла бы путешествовать налегке, в одном ситцевом платьице с весьма смелым для женщины ее возраста декольте. Без своей брони, с открытой грудью и развевающимися по ветру волосами она еще была очень и очень ничего, особенно когда пользовалась косметикой и обматывала вокруг шеи розовое боа. На скорости боа эффектно шелестело на ветру.

Перед самым въездом в Ангулем наш ситроен загорелся. Сперва мы заметили лишь слабый дымок, как бы лениво и нехотя струившийся из капота, но потом вдруг сразу весь мотор внезапно воспламенился, и к небу взметнулись огромные языки пламени. И тут, справедливости ради надо сказать, все проявили необыкновенную смелость: тетя Урсула, мама, папа и служанки. В ход были пущены одеяла, земля, бутылки вина, которое лили прямо на капот, и в два счета пожар был потушен. Одна служанка обожгла себе руки, и тетя Урсула сразу отведя ее в сторону, начала бормотать над ней заклинания, производить какие-то каббалистические манипуляции, наподобие тех, что приняты в племени сиу, и в заключении, как колдунья, еще несколько раз к ней прикоснулась. После этого служанка заявила, что все прошло и ей больше не больно. Теперь можно было ехать дальше. Тетя Урсула объясняла столпившимся вокруг зевакам, что это семейный секрет, который со времен Людовика XI передается в нашем роду через женщин. Как Христос, взявший на себя все грехи мира и только что изгнавший из одержимого дьявола, тетя Урсула, казалось, была отуплена болью, которую она только что изгнала из служанки. Она пребывала в прострации всю оставшуюся часть пути и не промолвила ни слова до следующего утра.

Конечно, она ни на секунду не забывала об отступлениях нашей армии, в горле у нее постоянно стоял комок, я видел, как глубоко запали ее глаза, позеленело лицо, поредели волосы, а кожа покрылась многочисленными морщинами. Разгром и бесчестие наших войск подтачивали ее изнутри, она думала и говорила лишь об этом, ведь она еще помнила Первую Мировую, когда сама была санитаркой. Это было время разрухи и ожесточенных сражений за каждую мясную лавку, но тогда твоя молодость была хоть кому нужна, ибо ее можно было отдать в сражении за родину, пожертвовать собой в борьбе со злом.

Унижение Родины она воспринимала, как свое собственное, обвиняя во всем масонов и падение нравов, наступившее после победы 1918 года. Всеми фибрами своей души она ненавидела Германию, которой не могла простить ни поражения в войне, ни неудачно, на ее взгляд, подписанного мирного договора. Казалось, ее в равной мере не устраивало в немцах и то, что они вернули нам Эльзас и Лотарингию, и то, что они забрали их у нас в 1870 году, ибо побежденных можно ненавидеть ничуть не меньше, чем победителей, наподобие того, как герой одной популярной некогда пьески любил человека, которого спас, а того, кому был сам обязан жизнью, терпеть не мог.



17 июня 1940 года, около полудня, мы въехали в Марманд, наши силы были на исходе, так как всю предшествующую ночь и утро следующего дня мы провели в пути. Мы поставили обе свои машины перед таверной на окраине города, где собирались слегка перекусить. Всей полнотой информации о событиях в мире этим утром мы не располагали, если не считать услышанного нами по радио

сообщения о том, что премьер Поль Рейно ушел в отставку, и президент Лебрен поручил маршалу Петэну сформировать новое правительство. Заказав себе несколько тарелок супа и немного ветчины, мой отец отправился разузнать подробности. Радио находилось на первом этаже перед выходом из таверны, где уже стоял ветеран 14-го года, облаченный в голубую военную форму и с крестом на груди. Туда же пришел мой отец, тетя Урсула, пара бельгийских беженцев, несколько каких-то зевак и, конечно, мы с Жюлиусом. Ровно в 12 с половиной часов полудни объявили, что сейчас маршал Петэн выступит с заявлением. И вот что мы услышали:

«С тяжким сердцем я вынужден сказать вам сегодня: сложите оружие. Прошедшей ночью я обратился к противнику с предложением положить конец вражде, дабы мы могли, не роняя своего воинского достоинства, с честью выйти из этой схватки. В этот трудный час все французы должны сплотиться вокруг правительства, которое я возглавляю, чтобы вновь пройти через тяжкие испытания, которые нам еще предстоят, не впадая в отчаяние и не теряя Веры в судьбу Родины». Тут я заметил (эта картина до сих пор стоит у меня перед глазами), как мой отец, сидевший на улице на чем-то вроде каменной тумбы, вдруг обхватил свою голову руками и заплакал. А, между тем, многие дураки вокруг нас радовались, я сам слышал, как они говорили, что теперь война кончена, скоро начнется демобилизация и все они отправятся по домам.

Сам я еще плохо понимал, что происходит, но мне было грустно, потому что в первый раз в своей жизни я видел, как плачет мой отец. Потом он тихо заговорил, обращаясь ко мне и Жюлиусу, причем так, будто мы были уже взрослыми людьми. Он объяснил нам, что Франция проиграла войну, но бывший триумфатор Вердена готов поднять упавший факел и наша несчастная Родина еще возродится.

В связи с тем, что больше спешить было некуда, мой отец объявил, что он снял для нас здесь комнаты и после обеда мы можем идти спать. Все сидели, униженно уткнувшись в свои тарелки, и молчали. Тетя Урсула стала белой, как снег, глаза ее покраснели, а волосы были вздыблены, как у безумной. Видно было, что ее постиг ужасный удар. Она сидела, плотно стиснув зубы, не притрагиваясь ни к супу, ни к питью, хотя жара стояла невыносимая. Я видел, как под прилипшим к ее коже корсажем вырисовывается пышная грудь, которая лихорадочно поднималась и опускалась в такт ее дыханию. Она, наверняка, много плакала, об этом можно было догадаться по ее заложенному носу и маленькому платочку, который она нервно теребила в руках. Внезапно она резко, как пружина, вскочила из-за стола и, не говоря ни слова, отправилась в свою комнату. Воцарившаяся за столом тишина нарушалась только гулом проезжавших мимо машин, шумом на кухне и жужжанием привлеченных запахом супа мух. Стояла ужасная жара. Нам не хотелось больше ни есть, ни пить, не хотелось ничего, даже спать. Мы преисполнились глубокого отвращения ко всему на свете. Тишина в столовой и во всем доме установилась просто пугающая. В этот момент на втором этаже раздался выстрел винтовки, сухой щелчок, на мгновение прервавший тишину, а затем мой отец, с грохотом роняя на ходу стулья, бросился наверх, чтобы увидеть то, о чем он уже догадался и так.

Комната тети Урсулы была в жутком состоянии, сама она лежала у кровати без головы в луже крови. Мне действительно показалось, что у нее не было головы, а осталось только что-то бесформенное с прилипшими волосами. Осколки ее головы были повсюду, – на стенах, на потолке. На потолке они были видны хорошо, а на стенах среди цветочков на обоях их было разглядеть сложнее. Все окна были распахнуты, стекла выбиты, а на слегка

колыхавшихся в потоках жаркого воздуха занавесках виднелись пятна крови. Ружье валялось рядом с телом: тетя упала навзничь сразу после выстрела. Еще я запомнил ее ботинки, они до сих пор стоят у меня перед глазами: один – справа, а другой – слева, как будто она специально расставила ноги, чтобы упасть всем телом вперед. Тетя Урсула, лежа на полу, казалась больше, чем она была в обычной жизни, выше ростом, и это отчетливо запечатлелось в моем мозгу на всю жизнь, я до сих пор помню ее слипшиеся волосы и глядящие в разные стороны носки ботинок.

Из-за жары ее похоронили уже на следующий день. На похоронах присутствовали городские власти и толпы народа. Пожарники водрузили ее тело на автомобиль – кажется, это был рено, до блеска начищенный и весь покрытый цветами. Мой отец, моя мать, Жюлиус и я шли во главе траурной процессии, представители власти шли за нами.

Один из организаторов церемонии сказал моему отцу, что тот может идти до церкви, не снимая шляпу, на что отец ему сухо бросил: «У меня нет шляпы». Мы с Жюлиусом толкнули друг друга локтями, с трудом сдержав приступ смеха.

Траурный автомобиль медленно и практически без шума, как корабль, тронулся в путь. По пути в собор люди вокруг нас образовали вдоль тротуара живую изгородь, размахивая французскими флагами, снимая шляпы и осеняя себя крестами. Умри она своей смертью, ей вряд ли организовали бы столь же грандиозные проводы.

Еще я запомнил прохладный полумрак церкви и яркое солнце на кладбище, а так же то, что после речи мэра все запели «Марсельезу».

Она так и осталась там, тетя Урсула, никто не перезахоронил ее на Пер-Лашез. Поэтому для нас кладбище Марманд – это что-то вроде форта Дуомона, где и поныне располагается передовая линия нашей обороны.



На обратном пути, неподалеку от Верзона, мы первые увидели немцев, это были полевые жандармы на мотоциклах с колясками. На ногах у них были великолепные сапоги, а во всем их облике было столько истинно арийской грации и воинственности, что кто-то из нас не удержался и сказал, что мы попали в хорошие руки и теперь нам будет лучше, чем раньше. Прежняя жизнь, какой бы она ни была, кончилась, причем кончилась окончательно и бесповоротно, теперь начиналась новая, – возможно, в десять раз худшая, не французская, с костюмами центурионов и красивыми мужественными лицами, но сопровождавшаяся оглушительным топотом сапог, рождавшим в душах смятение и ностальгию по республиканскому беспорядку.

Перед глазами победителей мы предстали далеко не в лучшем виде, особенно с этими нелепыми матрасами на крышах машин. Мы сами себе казались грязными, уничтоженными, дурно пахнущими; в общем, у нас было такое чувство, будто нас застали в самый неподходящий момент с дерьмом на заднице.

Потребовались годы, прежде чем я смог побороть в себе это чувство и научиться ходить с поднятой головой, хотя, конечно, потом я всегда держал ее высоко поднятой. Мне пришлось заново выковывать свою душу и тело, дабы стереть морщины, появившиеся у меня в тот день у Верзона.

Только ценой невероятных усилий я не позволил себе окончательно впасть в уныние. Тому, кто тяжелее, чем воздух, нелегко взлететь, а тому, кто находится в дерьме, не так просто ощутить аромат розы. Весь мир и окружающая природа были против меня, но я не сдавался, взяв на вооружение литературу и музыку.

Я построил себе замок из песка и снега, эфемерный, как огромный мыльный пузырь. Я сражался с призраками и стучался в открытые двери, но я называл вещи своими именами и ставил все точки над *i*, предпочитая не закрывать глаза без необходимости. Все-таки это гораздо лучше, чем ничего.

Оборачиваясь назад, я вижу дорогу, по обе стороны которой расположены могилы близких мне людей. Собственных же следов на ней я не вижу, хотя еще вчера шел по ней. Вдали я замечаю какого-то мальчишку, который бежит, задыхаясь в пыли. Вид у него вполне довольный. Вероятно, это я.



Во время первой воздушной тревоги в Париже я спал, и меня разбудила мать. Нужно было срочно одеваться. Я отчетливо слышал вой сирен и разрывы бомб. В свою рубашку и брюки для гольфа я влез без труда, а вот с носками пришлось изрядно повозиться. Зубы мои стучали, а руки и ноги лихорадочно тряслись. Мне удалось попасть в носок только с двадцатой попытки, то же самое повторилось и с другой ногой. Потом мы, сломя голову, бросились вниз по пожарной лестнице, волоча за собой чемоданы, в которых мой отец спрятал драгоценности. Служанки с одеялами, бутылками воды, плиткой, аптечкой и большой статуей Святой Девы из гостиной скакали по ступенькам вслед за нами.

В подвале мы зажгли свечи, отец открыл бутылку «Сомюра», а Пепита начала тихо причитать. До этого мы уже слышали, как она ворчит на кухне, но теперь она обращалась непосредственно к нам, рассказывая, как во время Первой Мировой сидела в этом же подвале со своей

хозяйкой-графиней и ее сыном, который постоянно ходил в новенькой форме летчика, хотя сам никогда даже не садился в самолет, разве что на земле, чтобы сфотографироваться. Пепита рассказала нам, что графиня время от времени поднималась по лестнице во двор, и грозно кричала, обращаясь к небесам.

«Проклятые, – вопила она, – у нас тут есть один ас, вот он вам сейчас покажет!»

Этот ас тем временем сидел в подвале, надевав от страха в штаны. Нас, детей, эти рассказы забавляли и успокаивали, главным образом потому, что наша старушка Пепита пережила войну 14 года и, по всей видимости, собралась пережить еще три или четыре мировых войны. Даже мой отец, и тот, придя в себя, попросил ее рассказать еще о чем-нибудь, например, про бомбардировки и просто, какие боши скоты, или о бомбе, упавшей на углу улицы Вано на лавку молочницы, которая в это время родила маленького Марсея, прямо в подвале, среди сыров.

Когда тревога кончилась, все были настолько увлечены рассказами Пепиты, что не хотели покидать подвал. Тревог было еще множество, но мой отец решил, что больше спускаться в подвал никому не нужно. Лежа в своей постели, я слушал грохот взрывов и гудение летающих над Парижем американских самолетов, а как только трубили отбой, моя мать надевала свою форму Красного Креста и на велосипеде отправлялась в разбомбленные кварталы. На следующее утро мы с Жюлиусом по дороге в школу подбирали осколки – точно так же, как когда-то во время каникул собирали в лесу грибы.

Все же у меня была замечательная мать: с красным крестом, на теннисном корте, в бальном платье – она всегда оставалась самой собой, была красивой и негибачей, за словом тоже в карман не лезла, к тому же она была моей матерью.



Все, не примкнувшие к коллаборационистам, не имели права перемещаться, не только потому, что это было запрещено, но еще и потому, что их лишили транспортных средств. Впрочем, мало кто осмеливался сделать сознательный выбор в сторону коллаборационизма или сопротивления, ибо будущее было слишком неясным, и большинство предпочитало неопределенность. Ко всему прочему, практически все страдали от недоедания, недостатка тепла и одежды. Подобные лишения заставляли людей быть экономнее и есть больше хлеба вместо привычных рыбы или птицы; правда, некоторые выращивали птиц у себя на балконе и потом их ели. Повсюду увеличилось количество грабежей, а также разорившихся и сумасшедших личностей. Все думали только о том, как выжить, отчего искусства, не имеющие практической ценности, пришли в упадок. Так иногда вырывают цветы, чтобы на их место посадить овощи.

В Сериньи мне часто приходилось работать на взятых моей матерью в аренду полях, где она выращивала картофель. Я пропалывал сорняки и истреблял колорадских жуков, а собранный урожай вилами складывал в пропахшие плесенью мешки, которые затем, надрываясь, тащил к дому. Ну а потом мне приходилось, преодолевая отвращение, есть этот картофель, употребляя его во всех видах: вареный, жареный, печеный, в салате и в пюре – подобных оргий не вынесла, наверное, ни одна свинья. Этот картофель снился мне по ночам в кошмарных снах, и я мечтал об окончании войны, когда буду есть только копченую колбасу, которой мы в то время были полностью лишены.

Позже, когда я наконец обрел свободу – правда, не столько благодаря Освобождению, сколько благодаря

эмансипации, – я всегда предпочитал бесполезное всему остальному. Я люблю бесполезные шумы, Жана-Батиста, Амадеуса, Людвига, обоих Рихардов и многих других; люблю ароматы, деликатесы, предметы старины, живопись и вообще все, что не имеет практической ценности. Книги и риторику я тоже люблю; впрочем, с годами отращивание прошло, и теперь я снова полюбил картофель, несмотря на его пользу.

В общем, в жизни мне частенько приходилось заниматься подобным принудительным трудом, начисто лишенным какого бы то ни было смысла. Счастлив тот, кто легко гарцует по жизни, с усмешкой взирая на себя и на окружающих, но горе тому, кто привык считать себя носителем некоего смысла и ломает голову над своим высоким предназначением. Насколько мне известно, участь существ, приносящих людям пользу, всегда была крайне грустной, взгляните хотя бы на ломовых лошадей, кур, свиней с фермы, сторожевых собак или на тот же картофель – все они приносят пользу, но им не позавидуешь.



«Ваш главный враг – это вульгарность, с этой продажной тварью вам необходимо бороться прежде всего, ибо она живуча, как сорняки и клопы. Кажется, что ты ее уже победил, но она еще шевелится и готовится к новому прыжку. Война против нее – ваш священный долг, и вы должны вести ее постоянно и без пощады».

Всякий раз, когда отец заводил разговор на эту тему, он впадал в такое возбуждение, что однажды я даже видел, как он залез на буфет в столовой в присутствии бабушки и аббата, дабы вещать оттуда о Священной Войне, как с кафедры:

«Можете ругаться, крыть своих собеседников на чем свет стоит, исповедовать какие угодно низменные идеи, только не допускайте ни грамма вульгарности. Даже находясь в сточной канаве, нужно уметь сохранить изысканные манеры, и вы должны научиться этому».

И действительно, в моем отце не было ни капли пошлости или вульгарности, хотя порой он был очень грубым. Он мог прогуливаться полуголым, проводить целые вечера в угольном подвале, выходя оттуда черным, как трубочист, лежать в луже мазута под сломанной машиной, бродить по квартире в ночной рубашке или даже работать в картофельном поле, как это было во время оккупации, но он никогда и нигде не ронял своего достоинства, и манеры его оставались безукоризненно изысканными.

Аббат слушал заклинания моего отца со стаканом в руке и ртом, забитым едой. В сутане он смотрелся неплохо и вовсе даже не вульгарно, хотя я не уверен, что в кальсонах или ночной рубашке он выглядел бы столь же эффектно. Папы поступили абсолютно правильно, облачив их в эти симпатичные платья, которые делали их бесполовыми и милыми.

Если бы не потолок, мой отец взобрался бы и на шкаф, чтобы его вопли были лучше слышны и разносились как можно дальше. В общем, это было довольно забавное зрелище, особенно для детей. Моя мать неоднократно пыталась снять его с буфета, дабы не пугать наших гостей.

«Слезайте же, мой друг, вернитесь к нам, не кричите так громко, мы слышим вас очень хорошо, к тому же и ваша яичница остынет. Чего доброго, вас услышат немцы, они могут подумать, что здесь собрались участники Сопrotивления».

Но все было напрасно. Когда мой отец заводился, ничто не могло его остановить: ни немцы, ни яйца. На буфете был уже не человек, а Зевс, Фантомас и Святой Георгий

в одном лице, готовый в любой момент, как Тарзан, вцепиться в люстру и перебраться на комод. Служанки продолжали свою работу, как будто ничего не происходит, моя бабушка только сокрушенно качала головой, но это не мешало ей обедать, а мы, дети, сами с удовольствием залезли бы вслед за ним и на буфет, и на люстру, чтобы немного поразвлечься.

Закончив свою проповедь, он спускался к нам за стол с видом олимпийского Бога, который нисходит с гор, дабы благосклонно разделить трапезу со своими почитателями.

Если бы аббат подобным образом вел себя в церкви, там яблоку было бы негде упасть, самые отъявленные атеисты, агностики и коммунисты ходили бы туда каждый день. Они все бы уверовали в Бога.

Увы, наш отец не мог одновременно вещать с амвона, школьной кафедры и буфета в нашей столовой. В своем роде он был гений, но даром вездесущности он не обладал.



Так как наш отец с детства приучил нас к умеренности в еде, нам вполне хватало карточек на питание в течение всего периода оккупации. Более того, мы даже обменивали свои талоны на машинное масло, а мясо – на велосипедную шину или пару башмаков на деревянных подметках.

Кроме ежедневного пайка, получаемого нами в префектуре, а также сухарей и витаминных пастилок, которые нам выдавали в школе, на черном рынке всегда можно было купить кофейный напиток, заменитель угля, обезжиренное молоко, сахарин и вообще эрзац практически любых продуктов: маргарин, масло, в котором не было ни грамма масла, и хлеб, в котором не было ни грамма муки, не говоря уже о газогенераторных машинах и велосипедах, заменявших в ту пору такси.

Никогда мы еще не чувствовали себя так хорошо, наши печени и желудки не страдали от лишних перегрузок, уровень холестерина в крови был предельно низок, табак и жиры практически отсутствовали, мясо тоже, мы сбросили лишний вес, а множество появившихся у нас дополнительных забот помогло нам избавиться от депрессий. Мой отец был на седьмом небе! Он повсюду твердил, что правительство Виши делает это нарочно, для блага и здоровья своих подданных, так как, на самом деле, на складах магазинов полно мяса и других продуктов первой необходимости. Он не исключал того, что администрация даже выбрасывает их из-за недостатка места, выливает по ночам в реки тонны молока, а бензин и уголь сжигает, чтобы люди больше ездили на велосипедах и вообще вели спартанский образ жизни, не расслаблялись и готовились к революционным преобразованиям.

Возможно, все это было и так, но лучше было бы об этом вслух не говорить. Озлобленный против маршала народ мог взбунтоваться, ведь во всевозможных слухах и без того недостатка не было, а мой отец своими разговорами только подливал масла в огонь. Таким образом, сам того не желая, он оказывал поддержку бойцам Сопротивления и сражался на стороне генерала де Голля, причем весьма эффективно.

Впрочем, соседи не склонны были видеть в моем отце ни участника Сопротивления, ни коллаборациониста; скорее, они считали его выжившим из ума разносчиком слухов. Его пророчества никто не принимал всерьез, ибо мало кто мог всерьез поверить в то, что после поражения Германии и освобождения Франции вернувшееся изобилие повлечет за собой настоящую экологическую и санитарную катастрофу, а посему доводы моего отца в пользу жестких мер, призванных восстановить пошатнувшееся

здоровье нации путем всевозможных лишений и ограничений, казались малоубедительными.

«Вот увидите, когда-нибудь все будут употреблять только обезжиренные молоко и масло, безалкогольное пиво, кофе без кофеина, хлеб без муки, табак без никотина и сахарин, а велосипеды окончательно вытеснят автомобили, распространение которых будет ограничено путем увеличения налогов и штрафов».

«Неумеренность в еде вызывает всевозможные болезни и загрязнение окружающей среды, от которых правительство Виши, вводя ограничения, вас избавляет, однако благотворные последствия этого вы сегодня оценить не в состоянии».

Моя мать считала, что подобные глупости до добра не доведут: либо немцы арестуют за участие в Сопротивлении, либо свои расстреляют после Освобождения за коллаборационизм.



6 июня 1944 года около 10 часов утра, когда я, как обычно, занимался с матерью своим заданием на лето, к нам в столовую с безумными воплями ворвалась наша соседка мадам Забло. Она была вне себя от возбуждения, босиком, взъерошенная, в распахнутом халате, из-под которого виднелись груди. Моя мать попыталась ее успокоить.

– Не волнуйтесь, мадам Забло, не надо так орать в присутствии моего сына, возвращайтесь к себе, все образуется.

– Мадам, вот и все, – задыхаясь бормотала та сквозь зубы, – вот и все.

– Возвращайтесь к себе, мадам Забло, все образуется, дышите глубже, и это у вас пройдет, вероятно, это просто прилив крови, такое случается со всеми.

– Вот и все, – твердила та, – вот и все, говорю я вам, сегодня утром это свершилось.

– Что свершилось? – раздраженно спросила моя мать. – Выражайтесь, пожалуйста, яснее, особенно при моем мальчике, в его возрасте дети очень впечатлительны.

– Вот и все, они высадились

– Ах!

Ну и видок был в этот момент у нас троих: мы растерялись, пустились в пляс, начали смеяться, громко вопить, рыдать, от счастья мы готовы были лезть на стену, ходить по потолку; казалось – еще чуть-чуть, и мы взлетим. Они высадились – а значит, прощай война и летние домашние задания, немцев – под зад ногой, скоро снова появятся круассаны, колбаса и масло в неограниченном количестве.

Мадам Забло в этот момент показалась нам самой замечательной женщиной в мире, такой веселой, очаровательной, даже утонченной. Моя мать хотела подарить ей свои тапки, она предложила ей принять душ и выпить с нами портвейна, сама помогла ей привести себя в порядок, убрать свои груди под халат и вообще успокоиться. Мы не знали, как отблагодарить ее за эту новость, которую она прибежала сообщить нам, обезумев от счастья, растрепанная и босая.

– Мы вам так признательны, мадам Забло, вы поступили благородно, такое не забывается, я расскажу об этом моему мужу, мы с малышом будем об этом помнить всегда.

Мы были так очарованы и восхищены ею, будто это она сама лично организовала высадку союзников.

Она ушла от нас гордая и довольная собой, у меня до сих пор стоит перед глазами, как она, размахивая руками, идет к себе через наш маленький садик. И хотя она по-прежнему продолжала во всю глотку вопить, мы с матерью подняли у себя в доме такой шум, что ее уже не было слышно.

– Запомни, – сказала мне моя мать, – запомни, кретин, это мгновение на всю жизнь, такого человек не имеет права забывать; тот, кому посчастливилось пережить подобное, должен помнить об этом всегда.

И я действительно запомнил это мгновение, оно прочно засело в моей голове, доказательством этому является то, что этим вечером, спустя пятьдесят лет, я вам все это рассказываю.



Надо сказать, что эстетически предыдущая война тоже представляла собой впечатляющее зрелище, ибо во всевозможных ужасах во время нее недостатка не было. Масштабы разыгранного представления поражают своей грандиозностью. Казалось бы, развернувшаяся на огромной территории и длившаяся в течение нескольких лет та мировая война так и останется непревзойденной по своей ужасающей глупости и чудовищности. Никому и в голову не могло прийти, что по прошествии всего двадцати лет после ее окончания оставшиеся в живых после этой мясорубки французы и немцы, их дети и дети погибших затеют новую бойню. В самом деле, нужно очень любить войну и испытывать к ней какое-то особое пристрастие, чтобы по истечении столь короткого срока после четырехлетней кровавой драмы, унесшей около десяти миллионов жизней, ввязаться в новую. Однако с эстетической точки зрения Первая мировая была всего лишь удачным хорошо отрежиссированным грандиозным спектаклем, в котором было задействовано огромное количество статистов и самых современных машин. А в искусстве предела совершенству нет. Успех спектакля, сколь бы полным он ни был, никогда не может до конца удовлетворить его создателей и избавить их от желания сделать нечто еще

более замечательное. Так что законы жанра требовали, чтобы опыт был повторен: не останавливаясь на достигнутом, с новым музыкальным сопровождением и использованием новых выразительных средств, действие должно было стать более динамичным, – главным образом, за счет вовлечения в него, помимо военных, и широких слоев гражданского населения, оставшихся до сих пор пассивными наблюдателями. Таким образом, руководствуясь стремлением к совершенству, приступили к осуществлению новой постановки, которую тоже можно считать успешной, ибо война длилась шесть лет и унесла с собой не менее шестидесяти миллионов жизней.

Мой отец был поклонником Вагнера и любил все грандиозное, так что прошедшая феерия вполне соответствовала его эстетическим воззрениям: «Даже без ядерного взрыва это было бы грандиозное и неповторимое зрелище. Если молодежь рвется в бой, разве можно ей это запретить? С таким же успехом можно было бы подавлять любые проявления свободомыслия, насаждать демократию тем, кому она не нужна, и вообще объявить запрет на свободу совести и вероисповедания».

А так как будущее всегда познается в прошлом, он предсказывал нам новые чудовищные религиозные войны.

Моя мать была настроена куда более идиллически. Она считала, что уже завтра сегодняшние враги полюбят друг друга, все дети мира возьмутся за руки, а богатые начнут помогать бедным. Она любила романы, благозвучную музыку, животных, природу, цветы и фрукты и искренне верила, что здоровье победит болезнь, а Богиня Разума поможет установить Мир и покончить с войнами. Все это вызывало жуткие вопли со стороны моего отца, который не хотел, чтобы нас воспитывали на утопиях, убаюкивали музыкой и усыпляли нашу бдительность. «Это все равно, что говорить им, будто куропатки начнут

убивать охотников, торговцы пушками займутся производством сладостей, а лисы почувствуют отвращение к курам и станут вегетарианцами».

Эти разногласия часто перерастали в крупные скандалы, которые, по мнению моего отца, лучше чем что бы то ни было подтверждали справедливость его воззрений, тем более, что моя мать сама приносила в эти скандалы особый драматизм, срывая с себя одежду и произнося столь громкие тирады, что от них едва не лопались ушные перепонки, куры во дворе разбегались, а все окрестные собаки начинали выть.

Впрочем, никто из нас не сомневался в неизбежности новых еще более разрушительных войн, ибо отец учил нас, что добро никогда не победит зло, а жизнь, как бы прекрасна она ни была, никогда не победит смерть.



«Ваш сын круглый болван, законченный круглый болван». Моя мать так и подпрыгнула, когда услышала это. Учитель же, сказав ей это про меня, сам того не подозревая, очень уронил себя в ее глазах, он превратился в ничтожество, на которое не стоит обращать ни малейшего внимания. Она взяла меня под руку, совсем как зонтик, и мы прошествовали с нею мимо кабинетов провизора и завхоза, пересекли раскаленный от полуденного солнца рекреационный двор, – в это время как раз заканчивались уроки, – прошли перед окошечком портье и незаметно по-воровски шмыгнули в автобус, идущий к Одеону.

«Ах, значит ты круглый болван, надо же до такого додуматься!» Ах! Какое оскорбление! Какое несмываемое пятно на моей репутации! После этого, казалось бы, на моем образовании можно было поставить крест. Тем не менее, в следующий понедельник меня опять отвели в

школу, заклиная впредь вести себя хорошо и ни во что не ввязываться. И я действительно был преисполнен самых благих намерений, но, увы, надолго меня не хватило.



А вот когда мы со Шмиттом подожгли комиссариат, это уже были не шутки, не слова, а настоящий проступок, научно проверенный факт, запротоколированный и вошедший в историю. Мы оскорбили старую консьержку, которая приставала к нам и мешала курить под аркой, мы ее обложили по первое число, покрыли ее самыми что ни на есть грубыми гнусными ругательствами. А старушка обиделась, восприняла все всерьез, вызвала полицию, и нас отправили в участок, где пай-мальчишкам вроде нас, конечно же, не место. Нас заперли в какой-то клетке, а сами отправились составлять протокол. Тут Шмитт, чтобы развлечься, и решил поджечь валявшиеся там газеты, поскольку он был примерным скаутом и всегда носил с собой спички. Пламя и дым распространились по всему комиссариату, все завопили и зачихали, приехали пожарные. За такие детские шалости нам уже грозил суд присяжных и каторга. Шмитт вел себя как настоящий герой, он все взял на себя. Кроме того, на мое счастье, у меня не оказалось при себе спичек, что подтверждало мою невиновность. Скаутом я был не столь примерным, как он, и носил с собой только пробку, швейцарский нож и бечевку, спички же я забыл, именно это меня и спасло, что лишний раз свидетельствует о том, что иногда некоторая небрежность может очень даже пригодиться. Тем не менее, моим родителям позвонили и предложили прийти за мной, а в это время в гости к моей матери как раз пришли подруги, так что звонок из полиции прозвучал очень

некстати! У них тоже у всех были дети, которые хорошо учились, во всем были примерны и старательны, и вообще получали только призы, похвалы, медали и грамоты, а моя мать и без того предпочитала помалкивать обо мне, так как меня постоянно откуда-то выгоняли и куда-то не принимали, в математике я был последним, в латыни, катехизисе и географии – тоже, а по остальным предметам и того хуже, а тут оказалось, что я еще и поджигатель, и не чего-нибудь, а комиссариата! Пришедший за мной отец держался очень бодро, но я всю жизнь буду помнить накаленную атмосферу столовой, когда мы с ним вошли, и как эти мегеры сразу же набросились на меня. И надо отдать должное моей матери, которая, заметив что ее подружки закусили удила, незамедлительно выставила их всех за дверь, пожелав им на прощанье побольше внимания уделять собственным детям, а нас оставить в покое, ибо ее дети прекрасно воспитаны и без них, и вообще, мол, это не по-христиански, не замечать в своем глазу бревно: так могут себя вести только люди, которые сами никогда не были молодыми и ничего не понимают. Мы с отцом получили истинное наслаждение, наблюдая за тем, как они, вооруженные зонтами, с воплями спускаются с лестницы, они явно недооценили мою мать, которая в гневе превращалась в настоящую львицу. В самом деле, они всегда очень горячо благодарили нас за чай и печенье, однако подлинной человечности и скромности в них не было ни капли. Когда они очистили помещение и мы остались втроем, больше никто не смеялся. Тут-то мне и учинили ужасную взбучку, которая сама по себе была крайне неприятна, однако я избежал суда присяжных и каторги, так что, можно сказать, легко отделался.



Мне было всего 13 или 14 лет, когда мои наставники окончательно вышвырнули меня из школы Боссюэ, при этом вид у них был крайне брезгливый. Будь у меня чума или холера, у них на лицах не было бы, вероятно, написано столько отвращения, чем тогда, когда они попросили меня собрать свои вещи. По-своему я был даже рад, так как ненавидел это заведение всей душой, однако с ужасом представлял себе, как вытянется дома лицо моего отца. Я уже слышал его обычные в таких случаях причитания: «Ты кончишь в тюрьме», «ты сведешь нас в могилу», «ты не понимаешь зла, которое нам причиняешь», «бессердечный», «и не жалко тебе свою бедную маму?», «посмотри, в какое положение ты нас ставишь», «что нам сказать мадам Дюжардэн, твоей крестной матери, и тете Эдмонде?», «когда я думаю о жертвах, которые мы, твоя мать и я, принесли, чтобы дать тебе приличное воспитание» и т.д.

Мой отец всегда произносил это с искренним убеждением в своей правоте, призывая в свидетели Бога и мою мать.

Учитель латыни больше других настаивал на моем исключении, а ведь этот скот сам посадил меня на последнюю парту и вел урок так, будто меня не было вовсе.

Я мог бы спокойно сгнить в своем углу – он бы все равно продолжал читать свои склонения.

Но как бы там ни было, я действительно не испытывал особого желания учиться и не проявлял интереса ни к чему, что мне преподавали, кроме пения и гимнастики.

Пел же я неповторимым ангельским голоском, которым всегда умело пользовался.

В гимнастике я тоже был лучше всех, кроме, может быть, Буланже и Кардонне, которые некоторые упражнения делали лучше меня. За это я их страшно ненавидел.

Что касается Далтона, то его я считал настоящим ублюдком, потому что он лучше всех писал сочинения, и

мои родители постоянно приводили мне его в пример, как некоего уникама. Я возненавидел его на всю жизнь. И это чувство помогло мне и вдохновило.

Сегодня, по прошествию стольких лет, я еще больше признателен этому Далтону. Я благодарен ему за то, что он оказался тем объектом, без которого я никогда бы не научился ненавидеть так, как умею это сегодня.

В преддверии Нового года моя мать обычно устраивала праздники, в связи с чем мой отец позволял немного расслабиться нашим телам, содержавшимся в строгости и мало привыкшим к пиршествам.

Губительные последствия этих прискорбных событий мы ощущали на себе в течение нескольких недель после их окончания.

Невозможно было без волнения смотреть на то, как моя мать готовит всевозможные сладости, праздничные наряды, безделушки, конфеты, шоколад, духи и еще тысячи всяких мелочей, которые она раскладывала вокруг новогодней елки, украшенной разноцветными бумагами, жутко звякающими побрякушками, блестящими, серебряными или позолоченными шарами, бантами, гирляндами из умопомрачительной формы электрических лампочек, снегом из ваты и дисками церковной музыки в исполнении, имитирующем хор кастратов.

У нее все было продумано до мелочей: свечи, прическа ангела, ясли, барашки, пастухи – свежую солому для маленького Иисуса она готовила заранее, а деву Марию, святого Иосифа, осла, крестьян и волхвов припасала для чуть более поздних событий.

Мой отец только недоуменно пожимал плечами, предсказывая опустошительные последствия подобных излишеств для детей, которых он обычно воспитывал в строгости. Зачем самураям миндальное тесто, шоколад и нежная музыка? Но что поделать, раз в год из-за праздника ему

приходилось поступиться своими воспитательными принципами, хотя мы прекрасно знали, что, как только уедут кузены из Бретани, дядя из Страсбурга, наши крестные, тетушка из Тулузы и господин аббат, уже в начале января, когда остальные продолжают веселиться и отдыхать, нас снова ждут суровые испытания, вроде утренних купаний в реке, обтираний снегом, голодовок, воздержаний и самобичеваний.

Смеяться и плакать нам было запрещено, поэтому мы должны были искренне всему этому радоваться, и надо сказать, в глубине души, мы, пожалуй, действительно предпочитали подобные истязания плоти лакомствам, которыми нас раз в год пичкали. Так уж устроено человеческое тело, что оно не терпит перемен ни от лучшего к худшему, ни от худшего к лучшему, ибо и к комфорту очень тяжело приспособиться, когда от него отвыкаешь.



Соседи, наблюдавшие за нами из-за занавесок своих окон, знали о нас все. За нами шпионили повсюду, дома это делали служанки и жители двух домов, расположенных справа и слева от нашего, на проспекте генерала Фелона.

Нужно сказать, что отец своими странностями притягивал к себе любопытные взгляды, как магнит, а наша манера бегать нагишом по дому порождала множество слухов, которые постоянно циркулировали в мэрии, в церкви и комиссариате полиции.

Только слепой мог не заметить косых взглядов, которые постоянно бросали на нас в школе, особенно, когда зимой мы приходили туда в одной рубашечке и с голыми ногами. Впрочем, никто не осмеливался нам ничего сказать, потому что мы, в отличие от остальных сопляков, никогда не кашляли и не чихали.

Во дворе мы играли в моржей, что опять-таки порождало массу сплетен. С той поры я не могу избавиться от ощущения, будто у меня за спиной постоянно шепчутся, где бы я ни находился. На улице, в саду, в гостиной – везде я чувствую себя промокшей собакой, случайно забредшей в приемную помощника префекта. Столь неподдельное изумление, застывшее на мелькающих в зеркалах лицах, мог бы вызвать только человек с дырой на брюках на неприличном месте или забывший надеть ботинки. Поэтому, прежде чем куда-нибудь зайти, я всегда проверяю, все ли у меня в порядке, дабы не вызвать окончательный переполох среди тех, кого уже и так пугает сам факт моего прихода.

Я хожу мелкими шажками, сдерживаю дыхание, стараюсь ничего не разбить, ничего не говорить и даже ни о чем не думать. Пью я лишь сироп, ничего не ем – в общем, делаю все от себя зависящее, чтобы все проходило гладко и без эксцессов, однако мне ни на секунду не удается избавиться от ощущения, будто у меня из-за ворота торчит перо и все окружающие видят меня насквозь.

При первой же возможности я стараюсь улизнуть за дверь, и бегом через сад, задевая стены, со всех ног бросаюсь к себе домой, и там всякий раз испытываю такое облегчение, будто мне только что удалось избежать смертельной опасности.

Подобным сильным ощущениям я обязан исключительно своему отцу, приучившему меня к мысли, что я не такой, как другие, и воспитавшему во мне желание от них во всем отличаться. Обычная внешность, крошечные ножки в крошечных башмачках и умиротворенно сложенные крошечные ручки помогают мне скрыть от окружающих свои скверные манеры и странные мысли, которые порой приходят мне в голову, яжимаю все руки, которые мне протягивают, обнимаюсь, когда нужно обниматься, и смеюсь,

когда нужно смеяться. Я стараюсь не наступать никому на ноги и всегда напускаю на себя такой вид, будто ничего вокруг не слышу, не замечаю и не понимаю. Только заставив окружающих поверить в то, что ты полный идиот, можно найти себе место под солнцем; главное, чтобы они не догадывались, что в глубине души ты бы хотел положить бомбу под каждое из их кресел.



Мы были отмечены тайной, недоступной для остальных, но безразличия к окружающему миру в нас не было, – скорее, наоборот.

«Не убивайте муху, которая летает! Осторожнее с пауками, кузнечиками и земляными червями, дайте им жить и оберегайте их, ибо это одна из частей вашей человечности».

Тот, кто научится уважать мух, в конце концов начинает испытывать и к своим ближним бесконечное сочувствие.

Если бы другие были нам равны, если бы они жили, как мы, в соответствии с нашими принципами, мы бы их возненавидели. Но так как нашим секретом было никогда не делать так, как они, эта опасность нам не грозила. Даже если бы они сами начали вести себя, как мы, мы бы сразу начали вести себя по-другому.

Зачем нам было их ненавидеть? Ненавидят ведь лишь тех, кто равен тебе, кому ты завидуешь, с кем соперничаешь.

Похожие друг на друга люди, замкнутые в одной сфере деятельности, не прощают друг другу ни малейшей оплошности. Нас же ничто не связывало с остальными, мы были сами по себе, они – тоже, так что трений между нами быть не могло.

Мой отец выходил во двор и кричал: «Любите друг друга, любите мужчин, женщин, детей, собак и кошек. Научитесь любить мух и вшей, которые у вас в голове, ваши мигрени, мозоли на ногах, боль в желудке, родинки, лысый череп, каждый из ваших волосков и каждую из ваших ягодиц».

«Пусть ваши маленькие дети придут ко мне, и я накажу их так, как они того заслуживают, я отлуплю их ради спасения их души, освящу их ударами своей палки, напущу на них своих собак, чтобы они как следует искушали их мягкие зады, вот тогда они научатся любить своего ближнего как самого себя, а потом они придут ко мне и попросят прощения за зло, которого они мне не сделали».

Пританцовывая, как дервиш, и размахивая своей шляпой, он впадал в транс и способен был сказать все, что угодно. Он упивался словами, нанизывая их друг на друга, как жемчужины. Речь его не имела особого смысла, но когда он, точно вышедший из могилы призрак, выкрикивал свои сентенции, выглядело это впечатляюще. Этот ополоумевший полудемон-полубог заставлял трепетать весь квартал. Когда с ним случался очередной такой припадок, все звали своих детей домой, запирались, как во время грозы, зажигали свечи перед иконами и, съевшись, ждали, когда он утихомирится.

«Кесарю – кесарево, а Богу – богово! Кесарей я всех пересажал бы на кол, пусть подышают. Плевал я на кесарей, все они одинаковы, жирные твари, в сортир их! Дерьмо они все...»

Наша мать закатывала глаза к небу и умоляла Господа, чтобы отец побыстрее замолчал или, по крайней мере, стал орать потише, не таким гнусным голосом, не пугал окружающих, но он еще сильнее входил в раж:

«Око за око, зуб за зуб? Ты выткнешь мне глаза, я разможжу тебе череп и выколю оба глаза. Ты выбьешь мне

зуб? Тогда можешь искать свою челюсть в сточной канаве, я запахну тебе ее в глотку, ты умоешься кровью, а из твоей пасти будет вонять хуже, чем из задницы».

Вероятно, мой отец так развлекался; то, что он говорил, было более живо и доступно, чем традиционный катехизис, в котором мысли излагались не столь ярко и впечатляюще. Мой отец не любил полутонов, он предпочитал сразу же ставить все точки над *i*, без обиняков и лишних церемоний, он рубил правду-матку сплеча, не оставляя ни у кого сомнений в том, что он говорит. Возможно, это было слишком прямолинейно, но по-своему правильно. Никакого притворства, выкрутасов, ложного пафоса, горячности – просто удар в голову, прямо по чайнику, и все.



Нашей соседкой снизу была баронесса, в гости к которой приходили Андре Жид и Антуан де Сент-Экзюпери. Вечером я поджидал их, стоя на лестничной площадке. Шаги Жида были тяжелыми, шаги Сент-Экза – легкими. Он взлетал наверх, как истинный авиатор, перепрыгивая через четыре ступеньки, и делал это в два раза быстрее, чем Жид. Не бойтесь, я не буду вам морочить голову рассказами о том, что видел, как Жид и Сент-Экз играют в футбол! Или как мы с Селином сыграли с ними партию в бридж. Нет, я всего лишь ждал их по вечерам, стоя на лестничной площадке, когда они поднимались к баронессе. Об их приходе я узнавал из разговоров кухарки со слугой, которые я подслушивал. В той среде они были двумя прекрасными принцами, встречу с которыми невозможно забыть, для мальчишки моего возраста это были настоящие гении, особенно мсье Жид, которого я видел потом еще много раз после смерти другого, а когда я тайком прочитал его «Яства земные», эта книга настолько меня поразила,

что я готов был пожертвовать ради него своими родными матерью и отцом.

Сент-Экз, конечно, был не столь изощренный и во многих отношениях менее обольстительный, если не считать того, что именно он садился в своем самолете на лужайку перед нашим домом. Я стоял у окна своей маленькой комнаты и видел, как баронесса в белом платье бежит к нему. У меня до сих пор стоит перед глазами, как он выпрыгивает из Латекоэра в своем кожаном шлеме и комбинезоне. Чтобы там ни говорили, но подобные впечатления глубоко западают вам в душу и с годами не только не выветривается из вашего сознания, а наоборот, становятся еще ярче и романтичнее.

По правде говоря, мне больше нечего рассказать об этом, хотя я мог бы сказать, что слышал их разговоры, но это было бы уже слишком. Много раз я припадал ухом к паркету, чтобы услышать их. Я воображал то, о чем они, находясь этажом ниже в большой позолоченной обеденной зале, разговаривают, но на самом деле я ничего не слышал. Я не считаю, что всегда нужно говорить только правду, однако вымысел и ложь должны быть правдоподобными. Лайнер у нас на лужайке, сам Шарко, спускающийся из дирижабля, стоящего у кромки берега, знаменитые пилоты Мермоз и Бреге у баронессы, а я в пижаме прихожу сказать им «добрый вечер» – все это так красиво, что вполне могло бы быть правдой. Главное – знать меру и не переступать границу дозволенного. Как правило, мы находимся в плену у пережитого, но еще в большей степени нас одолевает то, что нам хотелось бы пережить. Вот если бы все это можно было бы рассказать, наплевав на эти чертовы границы, но, увы, это невозможно.



Счастливы тот, кто не может наесться досыта, вынужден себя сдерживать и полон сожалений.

Сытого постоянно клонит в сон, в то время как человек голодный бодрствует, ему все интересно и он всегда что-то ищет. Вот почему мой отец хотел, чтобы у нас полными были кошельки, а не желудки.

Что касается наших голов, то он тоже предпочитал, чтобы мы не слишком забивали их разными бесполезными знаниями, дабы там всегда оставалось немного места для лукавства и чего-нибудь необычного.

«Забудьте все, чему вас учили, – любил говорить он, – переварите знание и избавьтесь от него». Он следил за тем, как мы перевариваем знания, точно так же, как следил за нашим пищеварением, ибо считал связанными тело и дух, мускулы и ум, умственные и мозговые изменения.

«Загромождение ваших пищеварительных органов затрудняет ваше мышление – переваривайте быстро, если хотите, чтобы ваши мысли были ясными». Живот и мозг были для него чем-то вроде сообщающихся сосудов: наполненность одного сразу же вызывала опустошение другого.

С медицинской точки зрения все это было весьма спорно, однако это было необычно и поражало наше воображение. Я считал, что необычное вовсе не обязательно должно быть морально или полезно, но мой отец придерживался противоположного мнения. Для него все из ряда вон выходящее, пусть даже смешное, было достойно всяческого уважения и имело нравственную ценность.

«Только уныние противостоит естественно и аморально. Расслабление тела, насилие над своим характером и природой, скудоумие и отвлеченные знания в высшей степени аморальны, ибо повергают людей в уныние. Все, что поет, танцует и смеется, по душе Богу, а то, что нравится Богу, не может быть аморальным».

Таков был один из основных принципов моего образования. Если бы я следовал ему до конца, я, вероятно, сошел бы с ума, стал преступником или епископом. Я не являюсь ни тем, ни другим, что не мешает мне верить в глубокую связь морали и природы, безрассудства и истины.



Мои родители считали, что мы не сможем достичь успеха и сделать блестящую карьеру, если у нас не будет крепких накаченных мускулов. Поэтому нам надлежало упражняться каждый день, утром и вечером, чтобы развить наши мускулы и сделать их крепкими и накаченными; в противном случае в будущем нас ждал крах.

Тренировки были напряженными, особенно по утрам, когда тело еще не отошло ото сна. Наклон вперед, наклон назад и оп, прыжок с поворотом головы вниз, прижать грудь к коленям, скрестить бедра, потом снова прыжок назад, двойное сальто вперед, установить ноги в третью позицию и, упав вниз, отжаться от земли. Прыжки вперед и назад, в стороны, по-лягушачьи, стойка на голове и руках, двойной прыжок назад и ползком вперед, как змея. Руки вверх, приставные шаги, небольшая пауза с глубокими прерывистыми вздохами и снова назад на мостик с напряженными ногами. Это вызывало головокружение, но развивало мускулы. После таких упражнений было особенно приятно перейти в обеденную залу и позавтракать.

Впрочем, толком позавтракать нам не удавалось. Вскоре нам и вовсе запретили есть, лишили чая и кофе, сведа весь завтрак к глотку воды, необходимому для того, чтобы промыть желудок и пищеварительные органы, очистить их и сохранить такими до вечера. Вода хорошо наполняла желудок и давала иллюзию сытости, хотя и не надолго. Поэтому нам приходилось часто повторять эту

церемонию и глотать ее снова и снова. Таким образом, к концу дня мы выпивали литров по десять, если не больше. Таков же был питательный режим наших собак: одна кормежка в день, а воды сколько хочешь. Отец считал, что пища действует вредно и угнетающе, поэтому хотел, чтобы мы питались, как удав, который ест раз в три или четыре дня. И действительно, отказавшись от еды, люди обретают много свободного времени, не считая экономии денег и избавления от сонливости, которая сопровождает процесс пищеварения. Однако моя мать настояла на том, чтобы для нас сохранили собачью диету:

«Если хочешь, веди образ жизни удава, но позволь нам питаться как собакам. Позже, когда они вырастут, они тоже будут есть, как удавы, если захотят, а пока им хватит и собачьего режима».

В конце концов, здравый смысл восторжествовал.

Организм сам быстро ко всему привыкает и адаптируется. Удав, который ест раз или два в неделю, переваривает пищу в течение трех или четырех дней. Он не торопится. С нашими желудками произошло нечто похожее. Когда они поняли, что им не дают ни завтрака, ни обеда, они стали подолгу хранить свои ужины. Они их смаковали прежде, чем передать нашим кишкам, которые, в свою очередь, теперь в течение дня получали небольшие порции еды, тогда как раньше им отправляли ее очень быстро: полдник, завтрак, обед в четыре часа, не считая закусок. Наши внутренности работали, как завод, как конвейер. Не успевали они выполнить одну работу, как нужно было приниматься за следующую. Органы – они не так глупы, они знают, что делают. Наши внутренности привыкли к своему ремеслу. Они работали медленно, но очень тщательно, на совесть.

Когда мне было десять лет, у нас вырубил горячую воду, и не потому, что мы за нее не платили, а для того,

чтобы мы научились обходиться без нее. Теплые ванны расслабляют мускулы и отупляют мозг, кроме того, они замедляют кровообращение, в результате чего некоторые части тела перестают получать кровь. Теплая ванна благоприятствует гриппу и насморку и представляет собой идеальную среду для размножения всевозможных бактерий. Микробы и вирусы чувствуют себя там прекрасно и размножаются так быстро, что те, кто купается в теплой воде, становятся их первыми жертвами, а вот холод они ненавидят. Поэтому лучше дрожать от холода, но быть здоровым – вот такому замечательному принципу мы должны были следовать. С наступлением холодов мы облачались в короткие штанишки и рубашечки, а в разгар лета на нас могли натянуть теплые свитера, только для того, чтобы мы были не похожи на других. Поначалу мне было тяжело, но постепенно я ко всему этому привык и вошел во вкус. Выходя из ванной, каждый согревался, как мог, физическими упражнениями, массажем или растирая тело снегом – по мнению моего отца, плохое надо было побеждать еще худшим. После нескольких лет такого режима зимой нам постоянно было жарко, а летом – никогда! Мы победили времена года и чувствовали себя просто замечательно.

Как я уже сказал, главным для нас было во всем отличаться от других.

В связи с тем, что отец считал комфорт источником всех пороков, у нас в доме ничего не было, и вскоре он превратился в настоящую трущобу. Мы не вставляли выбитых стекол, не чинили стулья, повсюду были разбросаны различные вещи – все это делало наше существование более сложным и тоже должно было лучше подготовить нас к жизни. Мой отец хотел сделать из нас парсифалей, готовых к любым потрясениям и ударам судьбы. Какое-либо иное проявление своих чувств, кроме смеха, нам было запрещено. Нам запрещалось выразить испуг, плакать,

жаловаться на что бы то ни было и волноваться, даже в самых непредвиденных ситуациях. Японцы могли бы позавидовать нашему воспитанию, ибо нас воспитывали как самураев, как рыцарей Грааля.

Что касается секса, то в этом отношении нам никто никаких препон не чинил. Впрочем, мы все равно целыми днями пребывали в возбуждении. Если пить одну воду, то жира не появляется, зато член постоянно стоит. Избыток питания отрицательно влияет на потенцию. Позже я обнаружил, что многие вещи, которыми мне в детстве забивали голову, соответствовали истине. Бедняки плохо питаются, а размножаются, как тараканы. Проблему перенаселения можно решить, только начав кормить бедняков, пичкая их всевозможными деликатесами и принуждая есть сверх меры, дабы заставить их побольше времени проводить за столом и поменьше в кровати.



Папаша верил в преобразование, взаимное притяжение, умножение хлебов, воскрешение из мертвых и непорочное зачатие. Что не мешало ему верить в неизблемость научных законов, в то, что из искры может возгореться пламя, в то, что каждый в первую очередь должен надеяться на себя, а не на Бога, и в то, что труд сделал из обезьяны человека.

Его вера была светлой и радостной, ибо он не сомневался, что природа способна адаптироваться к любым обстоятельствам и справиться с любыми трудностями.

Он приучал нас к мысли, что любое удовольствие, став привычным, начинает вызывать отвращение, тогда как лишения и невзгоды, укрепляя тело и душу, удаляют человека от животного состояния и приближают к божественной модели.

Много раз я слышал от него, что насморк появляется из-за тепла, усталость из-за отдыха, большое количество еды вызывает голод, питье вызывает жажду, и только страдание способно доставить человеку истинное наслаждение.

Он был убежден, что человеческое тело, воспитанное в холоде, голоде и лишениях, способно достичь совершенства и уподобиться телу Господа. Поэтому он выступал за воздержание и был противником изобилия; кроме того, он не сомневался, что поражения и неудачи тоже являются даром неба.

Поэтому меня и воспитывали почти как дикое животное, на свежем воздухе, без одежды, приучая инстинктивно чутать смену времен года. А был бы я сейчас жив, если бы меня воспитывали иначе? Если бы такого тощего, кашляющего и харкающего хлюпика вроде меня воспитывали, как тепличное растение? Возможно, теперь на кладбище Славных Малых было бы еще одним покойником больше? А может быть, я был бы теперь постоянным клиентом диспансеров, аптек и санаториев?

Глядя по сторонам, щупая свои икры и сравнивая их с икрами других, замечаю, что у одних они лучше, у других – хуже, у одних ляжки толстые, у других – миниатюрные и изящные; так и с людьми: одни нашли свое место в мире, другие болтаются в пустоте, либо потому, что они полные кретины, либо, наоборот, гении, но никому не известные, – мир полон несправедливостей, постичь которые умом невозможно.

Ободряющий взгляд со стороны окрыляет и побуждает стремиться к совершенству. Порой он пробуждает в человеке ум и способности.

Однако при любых обстоятельствах нужно уметь сохранять выдержку и хладнокровие и не снимать со своего лица непроницаемую для посторонних взглядов маску. Ибо она скрывает не только ваше лицо, но и вашу сущность, ваши самые сокровенные мысли, вашу душу.

Моя душа, как обезьяна, карабкается по баобабам и окидывает взглядом весь лес. Когда дождь кончается, я замечаю тысячи крошечных душ, взгляды которых устремлены на меня, слышу раздирающие ночную тишину крики диких птиц.

Все они умрут вместе со мной и удобрят собой землю, оставив после себя перья невероятных цветов и эхо своих криков.

Ну, а я – всего лишь жалкая пылинка на ветру. Я жду восхода и воскрешения.



Судьба диких уток больше не волнует людей, они жрут в три горла и не хотят ни о чем думать.

«Да здравствует крапива, шипы и корни, – кричал мой отец, выбежав на середину поляны. – Можете продолжать копать в своем дерьме, подобно остальным идиотам, можете обрезать крылья всем уткам, но скоро вы увидите нашествие новых нео-римлян, ибо татары, киргизы и другие косоглазые нахлынут сюда, но уже не как туристы-миллиардеры». Он заставлял своих слушателей ложиться на землю и, приложив ухо к земле, вслушиваться в гул шагов марширующих орд. Все замолкали, покорно ложились на землю и действительно вдали слышалось что-то вроде галопа.

Нас, детей, это ужасно поражало.

Его речь об утках напоминала настоящее пророчество, от которого зависели судьбы мира.

В церкви мы должны были молиться за уток и зажигать свечи во имя спасения людей, которым, в свою очередь, тоже надлежало молиться за нас.

Никогда не съедайте свою пищу до конца, оставьте немного уткам и тутси.

Эти моральные обязательства стали необходимы для нас, как воздух, который мы с жадностью вдыхали. А ведь дышать толком теперь уже никто не умеет. Точно так же, как и плавать. Все предпочитают копать в дерьме, подобно петухам и свиньям.

А я следую советам моего отца и скольжу по траве, как угорь и водная змея. Я помню о своем долге перед утками.

У нас с Пресвятой Богородицей общий враг, и мы идем навстречу ему, распевая гимны.

После того, как мой отец умер, я стал его любить сильнее. Ведь больше нас никто не разделяет, мы окончательно с ним соединились.



Мой отец совершенно правильно говорил, что слишком любит картины, чтобы видеть, как они страдают в музеях, что слишком любит диких животных, чтобы любоваться их страданиями в зоопарках, которые он считал тюрьмами.

«В музеях картины несчастны, они не созданы для жизни в этих концлагерях, собранные все вместе, помещенные рядом с другими произведениями искусства, с которыми они вообще не могут сочетаться; одни художники вынуждены уживаться с другими, которых ненавидели при жизни. Картины созданы для жизни в домах, подобно домашним животным, кроме картин, которые созданы для церквей, где и должны оставаться». Правда, в зоопарках животные тоже несчастны, для них это как места заключения. Они не созданы для этого, птицы созданы для полета, львы для сражений, а рыбы для плавания среди волн. МУЗЕИ = ЗООПАРКИ, мой отец был прав. Он был прав всегда.



Наш отец, ненавидевший толпу настолько же, насколько любил личностей, всегда строго судил о музыке, о мелодиях, которые оставляют равнодушными личностей и увлекают за собой толпы.

«Достаточно заиграть музыке на углу улицы, как люди начинают собираться вместе; именно так начинались все революции и все войны. Под звуки труб и барабанов солдат заставляли идти под пулеметы, церкви заполнены до отказа благодаря звукам органов, певцы собирают огромные залы и получают солидные гонорары. Слабого звучания рожка достаточно, чтобы народ поднялся, как один, а звучание фанфар заставляет их маршировать и идти на смерть. Раздается барабанная дробь, и вот они выстраиваются в бесконечные шеренги. А если вы хотите вернуть их домой, просто заставьте замолчать барабаны! Музыка электризует толпы, но лишает воли индивидуумов».

А отдельному человеку больше нравятся бесконечные убаюкивающие медленные ритмы. Если ему удобно сидеть, музыка вскоре усыпляет его. Стоит музыке зазвучать более резко, он встает со своего стула и выходит на улицу, где музыка звучит уже тише, и он снова полностью расслабляется.

Следовательно, музыка смягчает нравы индивидуумов, которым не помешало бы взбодриться, и подстегивает толпы, которые, наоборот, нужно успокоить, как успокаивают диких животных и опасных безумцев.

Следовательно, она совершенно некстати пробуждает спящих собак и усыпляет именно тех людей, которых хотелось бы видеть бодрствующими и никогда не спящими.

Следовательно, музыка нам противопоказана.

Вообще-то, нас она оставляла холодными, поэтому танцевать нам порой было нелегко. А танец был единственным развлечением в нашей жизни. Все наши самые обычные жесты – когда мы ходили, садились, поворачивали голову, брали какие-нибудь предметы, падали на землю, ложились, вставали, протягивали руку, приветствовали друг друга, – были тщательно продуманы и отшлифованы, подобно произведениям искусства.

Поэтому мой отец был воплощением грации и ловкости: в нем было что-то птичье и кошачье одновременно. Моя мать тоже ходила и будто не касалась земли ногами, она была настоящей Жизелью. Создавалось впечатление, что она вообще не знает, что такое кухня, и даже когда она чистила картошку или мыла посуду, мы видели в ней Жизель.

Жизнь без танца превращается в каторгу. Она становится такой же безобразной, как любая работа, она начинает дурно пахнуть. Ноги людей, не умеющих танцевать, постепенно превращаются в обвисшие икры и ляжки, у них выпирают животы и ягодицы, а голова, посаженная прямо на плечи без участия шеи, воспринимается как уродливый шар.

Когда они двигаются, каждое их движение сопровождается шумом. Они ставят на землю свои обутые ноги, и невозможно понять, как они ходят – ногами или ботинками. Их с трудом можно представить себе голыми, сразу же возникает страх обнаружить волосы там, где не нужно, странные жировые складки и жуткие выпирающие кости.



Моя мать многое сделала для того, чтобы мы получили религиозное воспитание, с чем мой отец, в конце концов,

согласился, причем не столько в наших интересах, сколько из страха перед Страшным Судом. Он был игрок, но с огнем играть не собирался. «А если Он все же существует? Мы не имеем права настраивать против Него детей. Если Он есть, то вполне может своей властью отправить всех нас в Ад на целую вечность. Тогда как мораль, которую Он проповедует, нельзя назвать вредной для детей или для взрослых, хотя, бесспорно, пытаюсь разделить Добро и Зло, то есть то, что разрешено и то, что запрещено, Он культивирует нетерпимость, хотя это присутствует во всех религиях мира».

Следовательно, он не был против естественной религии, которую диктовал нам инстинкт, не возражал против христианской морали, но выступал против отцов Церкви и Папства.

По материнской линии мы были в родстве с самим кардиналом, поэтому отец никогда не порывал с католической церковью, но старался держаться от нее подальше. Когда же в ней стали происходить существенные перемены – стали изменяться обряды, замолчали органы в храмах, из церкви убрали цветы и излишнюю пышность, дети уже не пели в хоре, а хлеба не освящались, когда кюре упростили свою речь и стали говорить на обычном языке, – мой отец еще больше отстранился от религии.

«Если все будет продолжаться в том же духе, то скоро нас будут причащать тем же хлебом, с которым мы едим суп, – тайком говорил он моей матери. – Месса прекрасна, пока она похожа на оперу и содержание ее недоступно широкому кругу простых людей. Как только все становится ясным и обыденным, смысл ее теряется, и она уподобляется простому бляению».

Беседы с Богом на том же языке, на котором говорят все чиновники и коммерсанты, казались ему такой же дикостью, как если бы священников одевали в рубашки и

костюмы. В этом отношении моя мать была с ним совершенно согласна, но не передавала его слов ни кардиналу, ни одному из наших дальних родственников, назначенному кюре в глухой нормандской деревне.

Однако кюре и кардинал никогда не встречались друг с другом. Кюре приезжал на вокзал Монпарнас, в одной руке у него бы молитвенник, а в другой корзинка – как у Красной Шапочки – а в ней цыпленок, яйца и овощи из собственного сада. От него пахло птичьим двором, и он с провинциальным акцентом рассказывал самые банальные и неинтересные вещи, которые мне когда-либо доводилось слышать.

Приезд к нам кардинала проходил совсем иначе. На вокзале его встречать было не нужно, он приезжал прямо к нам в лимузине с шофером, что вызывало пересуды во всем квартале. От него исходил специфический запах – вероятно, это были духи от Герлэна, – а его высказывания были столь возвышенны, что буквально завораживали нас.

На самом деле он был более современным, чем деревенский кюре, – он тайком занимался боксом и каратэ и упражнялся вместе с ватиканскими полицейскими в стрельбе в тирах. Он рассказывал нам обо всем этом под конец трапезы, которую обильно орошал «Мутон Ротшильдом» и «Дом Периньоном». Он всегда носил с собой пистолет, который обычно демонстрировал между кофе и арманьяком. Он показывал, как нужно из него стрелять из положений лежа, стоя и сидя, и был при этом похож на настоящего ковбоя. Когда приходило время расставаться, он прятал свой пистолет под сутану, его лицо снова принимало благодное выражение, и он усаживался в лимузин под умиленными взглядами соседских консьержек, которых он всех благословлял.

Отец втайне надеялся, что он станет Папой, но Бог этого не захотел, потому что кардинал погиб молодым в

автомобильной катастрофе за рулем спортивного мотоцикла. Секретные службы Ватикана замаскировали это происшествие под сердечный приступ, случившийся у него во время службы в церкви.

Есть люди, которые способны примирить вас и с громом, и с холерой. Думаю, что именно благодаря ему мой отец окончательно не порывал с церковью, и именно поэтому религия, которой нас обучали, была гибкой, свободной от всякого сектантства и до такой степени экуменической, что нам позволяли читать одновременно Коран и Евангелие. Нас всегда воспитывали в уважении к другим народам, к их мнению, традициям и верованиям.



Мой отец гордился своим буржуазным происхождением. И у нас действительно никогда не было дворянского титула или герба. Ни один из наших предков не принадлежит к знатной фамилии, если не считать нашего странного родства с семьей Романовых, которое делало нас кузенами лучших европейских семей и коронованных особ.

Дело в том, что кормилицей моего отца была одна бретонка, которая долгое время жила при русском дворе, где вскармливала грудью великую княгиню Ольгу. Таким образом, мы были Романовыми, правда, не по крови, а по молоку, так как великая княгиня была молочной сестрой моего отца.

Убийство молочной сестры моего отца в Екатеринбурге было крайне болезненно воспринято членами нашей семьи, ибо эта трагедия для всех нас имела особый смысл: мой отец теперь мог оказаться чуть ли не единственным избежавшим смерти наследником царского престола.

Нас воспитывали в уважении к мученикам, причем не столько к Николаю и царице, сколько к царевичу и великим княгиням. Мы должны были молиться за них по тысяче раз на дню и почитать их как святых невинных жертв варварства. Мы видели их фотографии в Царском Селе. Это были образцовые дети: маленький Алексей либо в матросском костюмчике, либо в форме офицера, пеший, верхом, со своим отцом, огромными, в два раза выше его, солдатами, на коленях у матери, с сестрами, на яхте своего отца, всегда такой одинокий, печальный и беззащитный.

На фотографиях запечатлелся теперь уже навсегда канувший в прошлое довоенный мир, полный покоя, счастья и утонченной красоты.

Этот маленький мальчик и эти девушки были воплощением цивилизации на краю пропасти, ибо оказалось достаточно двух или трех ублюдков в доме Ипатьева, чтобы их жизнь оборвалась, как будто кровь, хлынувшая на их шелковые воротники и кружева, могла смыть преступления, совершенные царями всего мира, которые, впрочем, не идут ни в какое сравнение с преступлениями пришедших им на смену борцов за установление диктатуры пролетариата.

Мой отец, хотя и был разночинцем, чем-то очень напоминал своего знаменитого родственника. Обычно люди смиряются с обыденным существованием, покорно несут свой крест и уповают на то, что за их добропорядочное поведение им воздастся в ином мире, где их наконец отметят, усадив по правую руку от Господа. Однако он уже в своей земной жизни не желал смешиваться с остальными людьми и делить судьбу обычных индивидуумов. Именно от него я, очевидно, унаследовал привычку никогда не есть, когда едят другие, ходить криво, если другие идут прямо, и думать иначе, чем они, причем зачастую вступая в противоречие со своими собственными

наклонностями. Впрочем, даже если ты не хромой и убогий, а просто заставляешь себя думать и ходить иначе, чем другие, то постепенно это становится твоим естественным состоянием.



Уже с раннего детства я, можно сказать, состоял в партии анархистов, отчего любое проявление конформизма вызывает у меня инстинктивное отвращение. В мою голову как бы заложили бомбу замедленного действия, заронили некое зерно, из которого рано или поздно должно было что-то произрасти. Многие годы я ношу в себе это чудовище, хотя его присутствие меня, скорее, тяготит, чем радует. Я постоянно испытываю на себе это дьявольское давление, но избавиться от него не в силах. Эта бомба может взорваться в любую секунду, и мне приходится прилагать чудовищные усилия, чтобы этого не произошло. Я с ужасом думаю о том, что, разлетевшись на тысячи маленьких кусочков и брызг, я посею кругом страшные разрушения. Я сам взорвусь вместе с этой бомбой, став первой жертвой своего воспитания; возможно, вместе со мной погибнет кто-нибудь еще, но я в этом не уверен. Ужасней всего было бы погибнуть одному, по мостовой будет стекать моя кровь, а тысячам прохожих будет абсолютно на это наплевать, и они даже не обернутся, чтобы взглянуть на еще одного только что убитого шута, кусками тела которого забиты все окрестные сточные канавы. Не хочется, чтобы после смерти тебя, не заметив, втоптали в грязь. Редко встречаются счастличики, которым удается разрушить храм своего тела, большинство людей вынуждены сгнивать заживо в каких-нибудь унылых конторах. Я же так до сих пор и не понял,

что мне делать с тем, что заложено в мой череп, и мысль об этом не дает мне покоя, порой я начинаю сомневаться в необходимости своего появления на свет.



Я ненавижу муравья, заставившего плакать стрекозу. Своей серьезной сосредоточенностью, трудолюбием и добропорядочностью он напоминает ограниченного буржуа. Его ставят в пример младшим школьникам, из которых хотят сделать покорных неприхотливых солдат, образцовых граждан, участь которых уже заранее предопределена и ждет их, как гробы ждут покойников. Нет, муравью я в любом случае предпочитаю журавля или, даже, сороку-воровку.



Без взрослых мир был бы просторным и сказочно прекрасным. Можно было бы часами напролет наблюдать за падающим дождем, бродить босиком по песку, а вечером засыпать у огня, не думая о завтрашнем дне.

По усыпанному сверкающими звездами небу проплывали бы гонимые ветром легкие облака, будто это что-то неведомые тени уносятся по лазурному небу в никуда. Младшие братья по ночам прижимались бы к старшим. Не было бы ни самолетов, ни гражданских, ни военных, ни дирижаблей, ни вертолетов, ни прочих мерзостей.

Все улицы в городах вдоль стен домов заросли бы сорняками, отчего города стали бы похожи на большие деревни, деревья же были бы брошены и обречены на медленное умирание, как бывают брошены обреченные на смерть старики.



Мысли, особенно в начале жизни, бродят в мозгу абсолютно беспорядочно. Странно видеть, как они порхают туда-сюда, будто огромные разноцветные бабочки, хорошие, плохие, благородные и преступные.

Я же, в силу извращенности своего ума и дурных наклонностей, всегда предпочитал самые гнусные из них, хотя и скрывал их из страха перед исправительным домом. Узнай о них мой отец, он бы наверняка меня избил, а если бы о них узнали другие, то меня и вовсе живо сопроводили бы в колонию для малолетних преступников.

Вмешательство взрослых в мыслительную деятельность детей чревато катастрофическими последствиями. Детям запрещено практически все, в том числе и то, чего требует их природа. Воспитание, основанное исключительно на запретах, вынуждает их свои самые мрачные мысли загонять вглубь подсознания, где те, предоставленные сами себе, образуют небольшие нарывы, на поверхности же остаются только самые общие мысли, то есть принадлежащие не им, а другим. Их собственные оригинальные задатки уничтожаются в зародыше – все должны мыслить одинаково, по одной схеме.

Младенцам вполне можно было бы присваивать номера, наподобие того, как поступают с коровами и свиньями. Этот шаблонный подход, опробованный на скотобойне, прекрасно подходит и для школьников. Подобная схема воспитания позволяет государству выращивать готовых на все подданных, чья неспособность самостоятельно мыслить делает их абсолютно послушными и лояльными. Прежде людей нужно было собирать на площадях, чтобы вбивать им в головы необходимые доктрины, а теперь их можно обрабатывать прямо на дому,

всю семью сразу или отдельных граждан, когда они сидят в тепле и комфорте перед своими телевизорами.

Конечно, к чести человеческого рода следует признать, что отдельные не поддающиеся оболваниванию личности еще встречаются. Этакие поганки, которых не удалось причесать под общую гребенку, свалить в общую кучу, загнать вместе с толпой на бойню, вот они образуют достаточно живописный контингент тех, что ходят не в ногу и носят яркую разноцветную одежду, не похожую ни на одну известную униформу.

Среди них встречаются слезливые с деревьев дикари, зеленые яблоки и перезрелые фрукты, важные господа и простые тряпичники, которые, взявшись за руки, водят хоровод на радостном и шумном семейном празднике, беззаботном и торжественном одновременно.



Целые поколения отправили в никуда, чтобы потом на полях сражений собрать в кучу мертвецов, хороших с одной стороны, плохих – с другой, святых и проклятых развезть по ветру, загнать всех в вечность, и все потому, что одни выиграли, а другие проиграли, так, будто кровь одних, пролитая другими, была кровью героев, а кровь других – кровью собак. Одним людям отводится место собак на помойке истории, в то время как другие объявляются небожителями, благородными патрициями, для которых возводятся пантеоны, которых повсюду сопровождают органы, рожки и барабаны.

Что ж, побежденные, вам следует пенять только на себя, надо было побеждать, тогда вы были бы на небесах, а другие – в сортире. Деление на добрых и злых окончательно, и ни у кого нет ни малейшего права на ошибку,

побежденные виновны в пролитой крови победителей. Мертвые, вставайте, но не все. Сперва нужно пройти мимо окошечка, чтобы на вас поставили знак качества. Проверили у всех документы и убедились в вашей лояльности. На теплое местечко не так-то легко попасть. Внешности чиновника и постной мины на лице еще не достаточно. Необходимо личное приглашение на вечер. Благожертвенное исчезновение не менее важно, чем благородное происхождение. Нужно пройти через кассу. Умереть – это еще не все; необходимо, чтобы это произошло по достойной причине и сознательно.

Не так-то просто умереть удачно, особенно если ты молод. Я знаю, что многие вроде и не прочь, но они не уверены в стабильности Истории. Я не советую им рисковать. Черт бы ее побрал, но никогда точно не знаешь, в каком направлении она будет двигаться. Правда, всегда найдутся верховные жрецы, которые могут вам все объяснить; не стесняйтесь, валяйте, ребята, солидные бородачи с орденами почетного легиона, профессора и кюре вас успокоят. Ты уверен, сделал верную ставку, но вдруг ветер меняет свое направление, облака рассеиваются, появляются другие бородачи и эксперты, и колесо Истории поворачивает совсем в другую сторону. В одно мгновение вы становитесь убийцей. Вы, маленький примерный бойскаут, вдруг превращаетесь в убийцу. Ваша смерть оказывается совершенно напрасной. Так что поверьте мне, старой лисе – всегда лучше оставаться живым. А так как сегодняшние хорошие идеи завтра могут стать плохими, лучше и вовсе оставаться у себя дома, это вернее всего. В тепле. Сделайте вид, что вас ничего не интересует и постарайтесь сохранить холодную голову. Никогда не нужно поступать сгоряча. Молодым следует почаще окунать голову в холодную воду, дабы не жертвовать собой из-за какой-нибудь глупости. Особенно из-за идей!



Если человек ненавидит себя самого и всех окружающих, то ему уже нечего терять.

Отсутствие любви рождает ненависть.



Когда детство уходит, ты открываешь для себя тщетность и бессмысленность всего земного, однако изнанка жизни поначалу завораживает твой взор. Со временем, когда копнешь поглубже, многие детали становятся тебе более понятны: что значит идти вперед и оставаться на месте, смысл насилия, своя беззащитность и прозрачность мутных вод. Тогда, молодо-зелено, можешь идти, куда тебе заблагорассудится, однако не следует слишком усердствовать, дабы не стать марионеткой в чужих руках, всегда лучше оставаться хозяином своей судьбы.

Можно раскрашивать жирафов, глотать ящериц, развиваться духовно и физически, постигать смысл мироздания, тайну рождения жемчужин и загадку собственной смерти.

Самое плохое, если ты решишь, что все это на самом деле постиг: лучше всего было бы умереть ребенком.

Париж, 1997

НЕ ВСЕ ТАК БЕЗОБЛАЧНО

Роман

перевод Маруси Климовой



Посвящается Саше

«В жизни случается все, но чаще всего – ничего».

Мишель Уэльбек

«Нет лучшего костоправа, чем человек со сломанными костями».

Жан Дюбюффе

*«Никакая философия не заставит человека молчать, если его
уколоть булавкой».*

**Аббат Конти, процитированный Марком Фьюмароли
в книге «Когда Европа говорила по-французски».**

*«Мы находимся в положении наблюдателя, который, дав макаке
ручку и лист бумаги, ожидает, что вскоре из-под ее пера появится
какая-нибудь фраза мадам Бовари».*

Ян Муа

*«Правила предназначены для того, чтобы их исполнять, а
исключения – очаровывать».*

Стефан Эке

*«В этом мире только чудо способно избавить человека
от одиночества».*

Жан-Клод Пирот

За деньги можно купить даже неподкупность.

Если ты не в силах уничтожить его, пусть он станет твоим другом.

А вдруг большинство всегда ошибается?

Без врагов не бывает побед, а без воров – честных людей.

Выигранная война – справедливая война.

Это вымышленная история. Несмотря на кажущееся правдоподобие, реальные люди в ней отсутствуют, и если кто-нибудь вдруг узнает здесь себя или же кого-то из своих знакомых, живущих либо умерших – это не более чем случайное совпадение. Ни один из героев этой книги еще не родился, поэтому не стоит искать в них сходства с кем-либо.

К ЧИТАТЕЛЮ

Этот мир находится во власти крикунов, вопли которых заглушают голоса разума, рассудка и сердца. Они увлекают за собой слепые безмолвные толпы, с легкостью манипулируя и забавляясь ими, а те готовы следовать за ними в огонь и воду. Вот почему в наши дни так редко встречаются героические личности, способные мыслить самостоятельно и готовые плыть против течения, не подчиняясь болтовне, веяньям ветреной моды и оказываемому на них давлению. Еще реже сегодня можно встретить людей, которым хватает смелости называть вещи своими именами и заявить королю, что он голый, когда тот и вправду гол. Флёр и Жерминаль, которые бродят по этим страницам, преследуемые жизненными неурядицами и несчастьями, подвергаясь нападкам и опасностям, принадлежат именно к такой породе людей. Они вместе бежали от цивилизации – хотя она все равно настигла их – вместе они пытаются выжить. Им приходится нелегко, но, несмотря ни на что, они стараются жить и думать не как все. Невозможно без содрогания смотреть на этих гордых идиотов и их безумного отпрыска, Одилона, вознамерившегося достичь совершенства, этого несчастного Моцарта, инфантильного монстра, изрекающего взрывоопасные истины и ставшего изгоем за свою попытку спасти род человеческий – вот подлинный смысл этой грустной повести. Впрочем, пусть каждый найдет в ней то, что ему захочется. И пусть небо обрушится на их головы, если такова будет воля абсолютного большинства.



I. ОГНИ БОЛЬШОГО ГОРОДА

1

Рожденный орудовать саблями и глотать их, я вел, в соответствии со своим призванием, довольно бурную жизнь. Совершенно не способный руководить и находиться в подчинении, я мог бы найти себе применение разве что где-нибудь в цирке, был наделен красноречием и стремился к праздному образу жизни, что и позволило мне попробовать всего понемногу. И вот я состарился, моя голова полна воспоминаний, которые, возможно, будут полезны для воспитания и обучения масс. С моей стороны было бы преступлением скрывать их, поэтому я просто не имею морального права их не обнародовать, подобно тому, как человек, облеченный саном епископа, обязан вещать с кафедры, исповедовать в грехах других, публично признаваться в своих собственных, выявлять совершенные ошибки и предупреждать те, что еще могут случиться. Ты начинаешь морализировать, сам того не замечая, инстинктивно, подобно тому, как действует пес-поводырь: жестокое разочарование для того, кто некогда был кондотьером, кумиром арен и стадионов, королем трапещий, балансировавшим на утыканых гвоздями подмостках.

Я пускался в длительные путешествия с сомнительными целями, поэтому мое нежелание распространяться на эту тему вполне понятно, я жаждал самых низменных наслаждений и возвышенных чувств, встречал червонных дам и пиковых валетов, меня бросало из жара в холод, я притворялся и по-настоящему страдал, мне довелось многое повидать, порой воистину удивительное. Об этом я и хочу сейчас поведать.

Мрачные времена, о которых я говорю, трудно назвать прекрасными; скорее, их можно было бы определить как конец старого мира, завершение некоего периода, хотя войны и не исчерпали людскую злобу, ибо постоянно находят желавшие развязать новые, а это доказывает, что уроки истории ничему никому не учат – разве что мертвецов, безумцев, вдов и калек.

С тех пор, как закончилась последняя бойня, среди развалин уже успела вырасти новая трава, – правда, не столь обильная и зеленая. Однако стоило только взглянуть на детей на улицах, чтобы убедиться, что те стали не лучше, а, скорее, хуже, чем раньше: та же неистовая жажда крови, готовность бить, убивать, обстреливать, поливать пулеметными очередями и взрывать. Коротко стриженные девочки и мальчики в забавных коротких штанишках маршировали по улицам с песнями, как солдаты. Отвратительное зрелище: перекошенные злобой лица, глаза убийц и руки душителей.

Ничего не изменилось, просто настал конец эпохи. Огромный занавес уже начал медленно опускаться, и, приложив ухо к земле, можно было ясно слышать приближающиеся издали шаги, шум моторов и гусениц, топот сапог, приказы и крики. Дикие и домашние животные уже начали сбиваться в стада, и чувствовалось, что с минуты на минуту над миром разразится гроза.

2

Республика тогда находилась в стадии прогрессирующего разложения. Органы власти были заложниками профсоюзов, государственные учреждения всех уровней поразила коррупция, общий долг достиг такого размера, что Центральный банк грозил взорваться, кругом царил беспорядок. Когда президент, облеченный фараоновой

властью, впервые в мире позволил правительству провести бессрочную забастовку, он совершил большую политическую ошибку. Он рассчитывал, что страна окажется парализованной, народ будет умолять его снова приступить к своим обязанностям, однако все сразу же вернулось на круги своя и пошло как в прежние времена. Никто уже не платил налогов государству, и это спровоцировало оживление на бирже и всеобщий подъем экономики, граждане начали создавать комитеты для управления текущими делами и поддержания порядка, в то время как рынок снова начал регулироваться старым добрым законом спроса и предложения. Никогда национальная валюта не была такой сильной, и по вечерам люди снова стали гулять по улицам, не боясь, что их зарежут. Несколько недель хватило, чтобы все успели осознать полную никчемность правительства и президента. Таким образом, объявление об окончании забастовки было встречено народом как угроза национальной катастрофы.

Всюду люди наладили свою жизнь, в Городе воцарились здравый смысл и рассудительность, вместо законов республики все стали подчиняться законам природы, и никому от этого хуже не стало. Правительство же, само спровоцировавшее эту ситуацию, посчитало ее революцией и грубо задушило в зародыше. Под предлогом восстановления республиканского строя вмешалась армия и, несмотря на отсутствие баррикад, на главных улицах столицы началась стрельба из пушек. Затем последовали многочисленные аресты, суды и казни, причем все это – во имя народа и в интересах закона. Хотя избиратели всего лишь на время забрали обратно то, что неосторожно доверили людям, не умевшим этим пользоваться.

Страна стала считать мертвых и перевязывать раны. Руками, обгаренными кровью своего народа, президент

снова взял власть, от которой отрекся, и восстановил в правах все комитеты, профсоюзы, парламент и суды. За несколько дней правительство вернуло все на свои места, а страну – на землю. Тяжелая государственная машина восстановила царство закона, еще раз доказав, что его именем может вершиться зло. Республика была спасена, а народ погиб, снова став жертвой всеобщего избирательного права.

После восстановления порядка, шепот Святого Духа, который уже начал задыхаться, стало практически невозможно услышать, его заглушили голоса безрассудных и лай собак. Ярчайшим тому подтверждением стало изобилие разбитых носов, подбитых глаз и сломанных конечностей. На улицах встречались люди с разукрашенными во все цвета лицами, с великолепными гематомами, иногда даже с зиявшими ранами. Голубое и красное вошли в моду, так же как и шишки, шрамы и швы на коже; ходили слухи, что некоторые избежавшие избиения личности, не желающие, тем не менее, отличаться от других, бились головами о стены и калечили себя сами. Людей с разбитыми рожами принимали в высшем обществе, даже оспаривали друг у друга право пригласить их в гости. Верховая езда, псовая охота и парусный спорт вышли из моды, их заменили боевые искусства, и нужно было видеть, с какой элегантностью герцогини предавались занятиям кун-фу, вьет-во-дао и тайскому боксу. При найме на работу предпочтение отдавалось кандидатам, имевшим черный пояс, нежели выпускникам Педагогического института. Торговцы пуленепробиваемыми жилетами, бронированными автомобилями и протезами были на седьмом небе, их дела резко пошли в гору.

Богачи спят по ночам в своих сейфах, и все к лучшему в этом лучшем из миров.

Воздухом стало буквально невозможно дышать, он несет смерть, от вони перехватывает дыхание; легкие, глаза, бронхи и мозг совершенно потеряли способность функционировать. Выделяемые одними гнилозные газы и испарения втягиваются носами других, и наоборот; все пьют воду из одной лоханки, из одной выгребной ямы. Теперь все люди живут и думают как одна масса, скопом. Все вместе они дышат, ходят в гости, осуждают друг друга, говорят гадости и ничего не читают. Они постоянно болеют одинаковыми болезнями, у них одинаковые мнения обо всем, одни и те же сны, фобии. Если они работают, это ничем не отличается от жизни на пенсии или во время безработицы, поэтому многие предпочитают пребывать в бездействии, поскольку оно лучше оплачивается и не так утомительно, как работа. Их постоянно осыпают самыми разными компенсациями, которые они прибавляют к тем, что получают, когда у них случается насморк, начинает болеть спина или ломается нога. Суды всегда умудряются находить виновных, в крайнем же случае выплаты производит гарантийный фонд. Все стало коллективным и единообразным, – форма мышления, оформление жилищ, манера одеваться, есть, смеяться и развлекаться, отдыхать во время отпуска и умирать.

Люди все чаще ложатся – не только для того, чтобы спать или размножаться, но просто одни ложатся под других, менее обеспеченные – под богачей, патроны – под профсоюзы, мелкие бандиты – под крупных, и не так давно учителя начали ложиться под учеников, а родители – под своих детей. Как в отдельных семьях, так и во всем обществе, на всех его уровнях образовалась настоящая каша. Она растекается, и ее нескончаемый поток уносит последние иконы, хорошеньких куколок, как надежды,

так и воспоминания, как родословные, так и намерения, как живых, так и мертвых. И в этом потоке папаша Дюпанлу, кот Феликс, Кропоткин и Мину Друэ. Каэн Маршнуар¹, Либкнехт и Роза Люксембург. Петьо.²

Миром правит закон силы. Во имя него люди закрывают глаза на одни преступления, но видят другие, убийцы устраиваются лучше, чем те, кто ворует кур, а победители постоянно судят побежденных, причем совершенные первыми жестокие поступки никого не волнуют. Таким образом, существуют негодяи в законе и другие, вхожие в высший свет, а также маленькие люди, едоки и те, кого едят.

Конечно же, все постоянно стонут. Они занимаются этим с тех пор, как умер их Великий Король, вот уже почти три века, но вопящие громче остальных меньше всех достойны сожаления. Они стонут и восстают. Лучше их никто не умеет восставать и совершать революции. Сойдет любой предлог: глупость их любимого государя, совершаемые ими грабежи и бессмысленные траты, временное отсутствие промахов, либо же просто ложная информация или сокрушительное поражение. Если у них есть император, то он, как правило, лишается своего положения из-за воинственных наклонностей; если у них республика, то только карнавал может вывести их из себя. Когда у них есть Порядок, они хотят Свободы, а когда они свободны, то постоянно грезят о сильной руке. У них уже вошло в привычку бойкотировать выборы; если

1 Имеется в виду французский писатель Леон Блуа (1846-1917) (наст. имя Мари Жозеф Каэн Маршнуар) – теоретик символизма и неоромантизма, рьяный католик.

2 Петьо – известный убийца, уничтоживший во Франции с 1942 по 1944 год около двадцати человек, казнен в 1945 году.

все же кандидат избран, они сразу переходят в оппозицию и мечтают лишь о том, чтобы уничтожить его. Это настоящий кавардак, но что-то забавное в нем все же присутствует. Город с каждым днем ветшает и потихоньку рушится, но все же в нем живут лучше, чем в других местах, и путешественники со всего мира мечтают здесь обосноваться, невзирая на наличие, либо отсутствие необходимых документов; у них обычно нет багажа, зато есть жены, у некоторых сразу две или три, а также множество детей.

Правда, участь народа сильно облегчают легкие и тяжелые наркотики. Самый сильный, дешевый и легко доступный большинству распространяется самим Государством посредством экранов, позволяющих задурить головы и обеспечивающих полную интоксикацию мозгов ложной информацией, разными картинками, сценами насилия – порой ужасными – и навевающими уныние развлечениями. Также сильно возросло потребление дурманящих средств на основе мака, галлюциногенных грибов и других растений, несущих грезы, упадок и смерть; самое банальное из них производится с древних времен при помощи винограда, не говоря уж о тех, что делают из картофеля, риса, обычных зерен и многих других продуктов первой необходимости. Чтобы побыстрее заболеть, люди наполняют свои легкие гудроном, который приносит прибыль государству и помогает заполнить больницы и кладбища. Однако, несмотря на все это, Город продолжает оставаться лучезарным¹, и в нем еще много живых, они все на кого-то охотятся, причем каждый является чьим-то заложником.

1 Намек на книгу французского архитектора Ле Корбюзье «Лучезарный город» (1935)

Родиться в это время, причем обычным способом, то есть от мужчины и женщины, тогда как ученые уже изобрели совершенно безболезненный способ производства великолепных младенцев без участия отца и матери, представлялось чрезвычайно опасным, притом еще, что жадное до новых несчастий, неслыханных войн и превосходящих всякое воображение катастроф Человечество стремилось к гибели. Однако один ребенок все-таки рискнул: Жерминаль, главный персонаж этой трагедии, – он, помимо своей воли, устремился навстречу мукам, и жизнь настигла его подобно тому, как других настигает смерть и как ночь сменяет день.

С первых же лет своей земной жизни он привык никому не доверять, уклоняться от правил и избегать банальностей, попирать договоренности и принципы; он считал, что родители стремятся лишить его свободы, мечтал нарушать любые запреты и старался не думать как все. Тайком он давал полную волю своим инстинктам, без колебаний совершал мелкие кражи и предавался всем смертным грехам, наслаждаясь ими в одиночку, читал все книги, спал совершенно голым и даже пил джин.

Скопления машин, их жуткий шум, гадкий запах, ничуть не похожий на запахи почек и листьев, вызывали у него настоящий ужас, он впадал в оцепенение, абсолютно лишенный каких-либо привязанностей, он бродил по ночам по городу, затем на рассвете возвращался к себе домой и зарывался заплаканным лицом в подушку.

Всегда оставаясь в полном одиночестве, он принимал на крыше дома, летом и зимой, солнечные и лунные ванны, он обжирался запретными плодами, он исступленно, до бесконечности, ласкал свое тело, испытывая райское блаженство, и заставлял себя переживать возвышенные

страдания, физические и моральные, окрылявшие его, и чем больше он себя ограничивал, тем свободней становился, со связанными руками, спутанными ногами и закрытым лицом, гадая на орла или решку, пытался обмануть скуку, обыденность и смерть.

Затем ему пришлось сменить декорации, спуститься с вершин, на время забыть о темных инстинктах, снова прикинуться послушным ребенком, нежным и благодарным, в лакированных башмаках, брюках с заутюженными складками, в приталенном пиджачке.

В обычной семейной жизни он был трусом и плаксой, неспособным убить отца, подорвать комиссариат, открыто преступить запреты и даже без причины побить свою собаку.

Жерминаль не особенно любил своего отца, бессердечного, жесткого, плешивого, с застывшей на лице маской любезности. Но не стоит сомневаться в том, что, если бы его отец отошел в лучший мир, он тотчас наделил бы его всеми возможными добродетелями. Это общеизвестно: как только нелюбимые выпускают дух, у них сразу же появляется нимб! Не успела смерть забрать их, как они тут же становятся добрыми отцами и хорошими супругами. Трупы еще не остыли, а их уже все обожают.

Его мать была санитаркой в Лурде, сестрой милосердия в Красном Кресте, однако альтруизм не мешал ей стрелять в сезон по куропаткам, а также по ланям и косялям, если они попадались ей на мушку. Представая то в роли убийцы, то санитарки, она бережно растила своего сына, воспитывая его в религиозном духе, и демонстративно целовала его на выходе из школы или из церкви после мессы, чтобы все видели, как она его любит, хорошо одевает, какой он здоровенький, послушный, румяный.

Родители устроили Жерминаля в школу ордена Братьев Единomyслия, на проспекте Рауля Виллена¹. Там, по крайней мере, ему не угрожало знакомство с негодями, и предоставлялась возможность обучиться искусству дезинформации, практике обыкновенного насилия и диалогу с глухими. Он мог также научиться прикидываться устрицей, кротом, карпом, молью и телянком.

Это было одно из элитарных учебных заведений Парижа, где за партами в свое время сидели отпрыски самых аристократических семей. Здание, по правде говоря, довольно-таки мрачное, походило на тюрьму и не ремонтировалось, по меньшей мере, сто лет. Что касается преподавательского состава, запыленного, прогорклого и замшелого, в него входили священники без возраста, туберкулезные надзиратели и заросшие волосом старые девы.

Директор заведения, аббат Тари, железной рукой управлял этой каторжной тюрьмой, где все еще тайком применяли телесные наказания, хотя и не особенно жестокие, причем учащиеся были обязаны утром по понедельникам приносить подписанные родителями дневники. Некоторые выскочки, всегда сидевшие в классе в первом ряду и занимавшие лучшие места, по субботам уходили с хорошими оценками и гордо поднятой головой. Жерминаль, постоянно находившийся среди последних, ненавидел их. Он мечтал поджечь школу, надеясь, что тогда его переведут в другую, где будет двор для прогулок, гимнастический зал и, возможно, бассейн. Он бы отдал всю библиотечную пыль, часовню, пронизанную мягким светом, и рвотный запах столовых за несколько деревьев, клочок неба и бассейн, он был готов продать

1 Рауль Виллен – убийца Жана Жореса, казнен в 1914 г.

дьяволу свою старую школу вместе с обгоревшими трупами преподавателей и лучших учеников класса, обугленных, подобно Жанне, Савонароле и герцогине Алансонской¹.

Если бы Жерминалю удалось осуществить свои планы, то часть квартала Вожирар взлетела бы на воздух, вместе с кварталами Батиньоль и Пер-Лашез, но его научили укрощать свои чувства, обуздывать дурные наклонности и разбавлять вино водой. Не делать ничего плохого, а при случае стараться совершать хотя бы незначительные добрые поступки – вот чему его учили в семье, в церкви и в скаутской организации. Его пичкали моральными устоями и республиканскими идеалами, вся его голова была забита этим, но он не был готов ни «умереть за родину», ни «продолжить дело старших товарищей, когда их уже с нами не будет», и его выворачивало при одной мысли о том, что под солнцем есть места исключительно для мертвых или умирающих.

Несмотря на свою гадкую сущность и примитивные инстинкты, Жерминаль ни разу и мухи не обидел. Он даже чувствовал одинаковую привязанность как к своим близким, так и к коту консьержки, сыну молочника и своему плюшевому мишке.

Часто он подвергался ужасным искушениям, но мораль была сильнее, чем преступные намерения, и он всегда выбирал прямую дорогу, а не кривые тропки. Ночью, во сне, обретая свободу, он бродил по большим кладбищам в свете луны, предаваясь различным анархистским выходкам, он сбрасывал с постаментов идолов, показывая задницу всему миру, и злобно сбивал с ног Бланку Кастильскую и принцессу Клевскую, своего старого знакомого кюре и его андалузского пса.

1 Герцогиня Алансонская погибла во время пожара, случившегося на большой благотворительной распродаже в Париже в 1897 году.

С Виллы дю Буа, где жили его родители, Жерминаль видел силуэты, порой напомиравшие людей, которые спускались из Шато Рантье, направляясь к Гренель и Латинскому кварталу. Это была армия теней, сотканная из пепла и мошканы. Оттуда сверху, в ясное время дня, отчасти при помощи самовнушения, ему удавалось разглядеть Орлеан, Лимож и страну басков. По правде говоря, на горизонте он видел лишь завесу выходявшего из домашних каминов дыма, дымящие фабричные трубы и выпущенный в атмосферу газ. Погрузив ноги в тазик с водой, закрыв глаза, он воображал себя на берегу моря. Зеленые резиновые водоросли обвивали, подобно змеям, его щиколотки, и он слушал протяжные рыдания скрипок и упиался ветрами просторов. Он развлекался тем, что босыми ногами вызывал в тазике небольшие волны и даже крохотные приливы. Рядом с ним, сидя между двух стульев, расположилась истина противоречий, растерянная с виду, несчастная и трясущаяся.

Жерминаль не особенно любил природу, предпочитая новые сады, где, пребывая в иллюзии вечной весны, он с удовольствием прогуливался среди брусев и других металлических предметов, искусственных цветов и листьев, цинковых пальм, кустарников и цветников из железобетона. Как многие любители садов, уставший от живых растений и английских газонов, плодов, цветов, листьев и ветвей, он увлекся этой новой растительностью, которая всегда оставалась одинаковой, несмотря на смену времен года и непогоду. Ему совершенно не нравилась сельская местность, хотя порой его привлекали обрывки жирной бумаги, пластиковые бутылки и пакеты; иногда, особенно при сильном ветре, он любил смотреть, как

трепещут разноцветные полиэтиленовые мешки, потом летят и повисают, зацепившись за ветви деревьев. Он также любовался линиями проводов высокого напряжения, изгородями колючей проволоки, горами старых шин и свалками разбитых автомобилей, которых все больше и больше появлялось вокруг. Многие подпадали под очарование этих новшеств, но никому тогда и в голову не приходило, что вскоре придется вырубить все леса и заасфальтировать последние огороды. Не все демоны были побеждены, но все были повержены. Некоторых уже повесили, однако оставалось еще повесить многих, и этим приходилось активно заниматься.

Гражданам предлагали вести жизнь, в которой всюду встречались вещи как необходимые, так и запретные. Как только они достигали сознательного возраста, им объясняли, что обязательно и что запрещено, и ни разу ни один учитель не рисковал разъяснить им, что позволено и насколько далеко простираются их права. Им в головы вбивали, что двигаться можно лишь в одном направлении и нельзя преступать барьеры, их предостерегали от случайностей, чтобы не очутиться в тюрьме, но никогда не рассказывали как стать счастливыми, не описывали красоты несовершенства и важности бесполезных вещей, а книги со смешными названиями «учебников права» состояли лишь из запретов и санкций, применявшихся к тем, кто их нарушал. С самого раннего детства им угрожали, что они могут остаться вне общества, потерпеть моральный и финансовый крах, оказаться в заключении, при самых безобидных выходках их пугали тысячами страданий и даже позорным столбом, их заставляли поверить, что шлепки, сыпавшиеся на них в изобилии, причем совершенно безнаказанно, были лишь цветочками в сравнении с тем, что ожидало их в зрелом возрасте. Перспективы казались

настолько ужасающими, что многие бросались в объятия священников. Церковь, более изворотливая, чем гражданское общество, навешивала на них моральные обязательства и обещала жизнь вечную. Таким образом, ее верные адепты ожидали кончины если не как освобождения, то без излишней боязни.

Едва закончив обучение в высших учебных заведениях, перемолотые общими жерновами, граждане уже умели ходить прямо и в ногу, смотреть вперед, читать писателей и книги, одобренные академиями. Они знали также, что нельзя делать очень многих вещей и что их ожидают строгие санкции, если у них появлялось желание нарушить запреты. Так сформировалась целая армия воспитанных в страхе перед жандармами молодых людей, походивших друг на друга как муравьи, с узкими плечиками, маленькими ручками, плоскими грудками и подгибающимися ногами, все в галстуках, уже подготовленные к ощущению веревки на шее, и с беретами на голове, ожидающие, когда же им ее отрубят.

Все же страну часто сотрясали революции, но общественный порядок, отброшенный за ненадобностью после первых же бунтов, возвращался всякий раз, подобно бумерангу, в руки власть предержащих, истеричных и жизнерадостных, которые тут же восстанавливали его и укрепляли лучше прежнего. Каков бы ни был режим, золотой телец по-прежнему возвышался надо всем, вода текла под мостами, земля оставалась круглой, богатые – богатыми, а бедные – бедными.

После долгих лет каторжной работы, забив голову информацией, Жерминаль окончил Институт Пролетариата, в то время как его друзья Брут и Ромэн, соответственно – Военную Академию и Пролетарский институт.

Из этих суровых испытаний они вышли покрытыми прыщами, но живыми; теперь им оставалось ощутить почву под ногами и заниматься всем понемногу, а, в основном, ничем, познавать жизнь и лишаться девственности. Одно время их видели на ралли и вечеринках, светских раутах и шикарных сборищах, на модных пляжах и на демонстрациях – всюду, где следовало появиться. Так однажды вечером в Опере, где давали не представлявшийся до сих пор нескончаемый и снотворный шедевр искусства барокко «Трукулл или торжество пустоты», они были представлены Флёр, Прюн и Роз Ледуарен, тройняшкам, которые на публике друг с другом сюсюкали, но втайне ненавидели. Любой пустяк, случайное послание, взмах веера, лишнее словцо, вспышка чувств, и они тут же вцеплялись друг другу в волосы, готовые ввязаться в драку из-за любой мелочи. Флёр сразу влюбилась в Жерминаля, Прюн – в Ромэна, а Роз – в Брута. К счастью, каждая получила своего, а то случилась бы битва под Верденом, Варфоломеевская ночь.

Свадьба трех сестер состоялась в один день в замке Рош Маскар, принадлежавшем Ледуаренам. На самом деле замок представлял собой огромное сооружение из кирпича и камней времен Людовика XIII, которое было полностью отреставрировано Виолле ле Дюком, но успело снова разрушиться. В полдень (о том, какая погода была в тот день, упоминаний не сохранилось) кюре совершил богослужение в часовне при замке среди океана шляп самых невероятных расцветок: конфетно-розовых, кроваво-красных, шпинатно-зеленых, гусяного помета. Обремененный столь непосильной задачей, он перепутал имена и спросил у Флёр, согласна ли она жениться на Бруте, а Жерминаля – согласен ли он взять в супруги Ромэна, что вызвало среди собравшихся некоторое смятение и

взрывы смеха. Также там был замечен субпрефект де Вилькье¹, командующий 8-м гусарским полком², аббат Тари, недавно провозглашенный епископом де Комбре³, и мэтр Обиж, бывший ответственный секретарь конкурса парижских молодых адвокатов, заслуженный кавалерист, дядя невест.

Флёр выглядела жутко, плохо причесанная, зятая в слишком узкое свадебное платье, в котором ее толстые груди торчали под самым подбородком, а складки на животе были прижаты к ляжкам. К счастью, длинное платье скрывало ее узловатые колени и икры как у велосипедиста!

Обед, сервированный на лужайке, был испорчен сильным ураганом и темными тучами, пролившимися в тот момент, когда подавали пулярку с трюфелями и сморчками; ливень превратил полянку в настоящее болото. Началась всеобщая свалка, каждый пытался быстрее убежать в замок со стаканом и тарелкой, или же просто с крылышком или ножкой пулярки в руках. Поскольку почти все тарелки были разбиты или же упали в грязь, все начали есть руками и вытирать пальцы обо все, что попадалось под руку. Свисавшие мокрые поля шляп мешали видеть, а платья были покрыты пятнами жира и соуса из сморчков, тем более что все заляпанные грязью гости терлись друг о друга. Большинство совершенно потеряло всякую выдержку, выхватывая у соседей лучшие куски, в то время как некоторые развлекались, подбрасывая куски еды в воздух, и никто не мог понять, кто был зачинщиком безобразия:

1 Вилькье – городок, неподалеку от которого утонула дочь Виктора Гюго, Леопольдина.

2 Франсуа Жибо в молодости проходил военную службу в 8-м гусарском полку.

3 Пруст в своей книге «По направлению к Свану» описал деревушку Илье, назвав ее Комбре.

студенты Военной академии или же Пролетарского института. Флёр была измазана пюре из сельдерея и трюфельно-шоколадным соусом. На ней не было только печеночного паштета, который, к счастью, подавали как раз перед грозой. Само собой разумеется, повсюду слышались радостные хлопки бутылок шампанского. Студенты института Пролиферации решили потрясти оставшимися бутылками и оросить содержимым собравшихся. Короче, тройная свадьба завершилась на редкость вульгарной попойкой.

6

В первую же ночь Жерминаль, хоть и был девственником, показал себя великолепным любовником. Член у него стоял рекордно долгое время и вызывал восхищение Флёр, которой приходилось до этого видеть и другие. Венеция, где они решили провести свой медовый месяц, была прекраснее, чем когда-либо, и влюбленные, бродя по улочкам из квартала в квартал, с мостика на мостик, без усталости любовались лодками, плавающими по Большому Каналу, яркими красками, прозрачным воздухом и людьми. Им понравилась атмосфера изысканности, радостного оживления и меланхолии, непринужденности и таинственности, окружавшая Город Дожей, одновременно живой и торжественно мертвый.

Флёр и Жерминаль ночи напролет катались в гондоле. Одни в мире, они дышали, не произнося ни слова, и стоило им только опустить руку в темные волны канала, как дурные мысли уходили прочь, исчезали плохое настроение и раздражение. Когда ночь опускалась на город, над каналами нависала тишина, и лишь мяуканье котов, плеск воды о плоские днища гондол и крики гондольеров на перекрестках эхом отдавалось от неподвижных дворцов и домов. В эти возвышенные мгновения, когда время

замедляло свой ход, одни во вселенной, они были совершенно свободны. Они забывали об обычной жизни, об уродстве и злобе людей, об их горестях, ярости и страхах. Лодка скользила в тени мертвых по невероятным лабиринтам каналов. И они снова и снова встречались с Моцартом.

Им казалось, что они теряют сознание перед Карпаччио де ла Скуола ди Сан-Джорджо делли Скьявони, перед могилами Дягилева и Стравинского, сидя «У Флориана»¹, в византийской тени Сан-Марко, спрятавшись от голубей, но когда солнце опускалось над Джудеккой, их настигали Прекрасный Голубой Дунай и Фуникули Фуникула. Когда время обмороков прошло, для них настала пора возвращаться к живым, к лихорадочно трясущимся маньякам прогресса и скорости. С ощущением праздника в голове, в глазах и сердце, они как раз успели на поезд, отправлявшийся в 22 часа 47 минут, но он сломался между Миланом и Модане и пришел на Лионский вокзал с опозданием в три часа.

Любой гражданин мужского пола, перед тем, как погрузиться в активную жизнь, должен был исполнить свой воинский долг. Жерминаль, будучи интерном в институте Пролиферации, слишком много страдал от дисциплины во всех ее формах (подъем на рассвете, свистки, переключки, вечерние поверки и бесконечные занятия спортом), чтобы согласиться жить в казарме или в кавалерийском расположении даже в чине младшего лейтенанта, который мог бы ему позволить кое-кого поставить на уши.

Получив повестку явиться в призывную комиссию, он подготовился к этому испытанию, проконсультировавшись с лучшими психиатрами, взяв несколько уроков актерского мастерства и составив железобетонную

¹ «У Флориана» – известное кафе на площади Сан-Марко в Венеции.

медицинскую карту. Он натянул на себя невзрачную траченную молью одежду, которая была ему велика, уродливые, черные с белым, ботинки и очки с очень толстыми стеклами, отпустил длинные лоснящиеся волосы, не брился несколько дней и, чтобы производить странное впечатление, натянул на руки черные кожаные перчатки.

Сперва их всех раздели догола, чтобы заполнить бумаги, сделать им прививки, взвесить и измерить. Жалкие тела выстроились гуськом, безволосые и волосатые, с большими и маленькими приборами, у многих были складки на животах от избытка жира, толстая кожа и прыщи на спине, не говоря уж о грязных ногах и дряблых ягодицах. Затем их попросили снова одеться, чтобы пройти осмотр у врача, которому Жерминаль объяснил, что влюблен в свою мать и страдает недержанием мочи. Он лихорадочно дрожал и изъяснялся с большим трудом, оглядываясь направо и налево, точно его преследовали убийцы. Он бормотал что-то невнятное и, под конец беседы, наделал в штаны. Брюки прилипли к его левой ноге, а у него под стулом образовалась довольно заметная лужа. Тогда он начал плакать и звать свою мать. Главный врач, дав ему носовой платок и произнеся несколько слов утешения, попросил зайти уборщицу и выписал ему раз и навсегда белый билет.

В случае войны Жерминаль получал право находиться вдали от стрельбы и окопной грязи, переносить раненых где-нибудь в больнице в тылу, работать в социальной службе или же в необороняемой зоне, как раз в соответствии со своим призванием. Он не особенно стремился как пачкать свои руки, белые и изящные, так и проводить ночи под обстрелами или отдать свою жизнь за кого бы то ни было, он любил пугать себя, но ненавидел грубость и неожиданности земной жизни. Он любил ночные праздники, за исключением балов мазохистов и одержимых,

Реквиему он предпочитал *Te Deum* и ценил любые пирушки, за исключением поминок.

На самом же деле Жерминаль сделал неверный выбор, потому что во время грядущих войн планировалось, в основном, уничтожение людей, прикованных к постелям, рожающих женщин, стариков в богадельнях и детей в ночных рубашках, а не солдат. Таким образом, следовало больше бояться остаться в тылу, чем оказаться на поле битвы. Целью врагов, в первую очередь, будет гражданское население, на которое сбросят множество различных бомб, и тогда отбою не будет от добровольцев, стремящихся на фронт, дабы любым способом спрятаться в первых рядах.

Жалкий ягненок, Жерминаль решительно не был создан для того, чтобы жить в ногу со временем. Он видел себя жертвой на бойнях и на корридах, вечным рогоносцем, он все время ошибался и вставал не на ту сторону, ему все представлялось в черном свете, всюду ему мерещилось зло и смерть гналась за ним по пятам. Когда в деревне радостно звонил колокол, ему слышался набат. Он принимал голубей за хищных птиц, а женщин за голубей! Ему не удавалось отличить добро от зла, как и красоту от уродства. Впрочем, он любил свою жену.

Уверенный в природной доброте людей и в своем неминуемом успехе, Жерминаль верил в общество без полиции, без жандармов и без тюрем. Ненавидя любое принуждение, боль, злобу и смерть, он бы хотел, чтобы люди обходились без школ, без казарм, без больниц и кладбищ.

Что касается политических взглядов, его мысли в основном сводились к небольшому привычному набору штампов, и чаще всего в его бессвязных речах звучало слово «свобода». Его гораздо больше привлекали тощие, нежели толстые страны, и он сожалел, что тело государства, раздутое бесчисленными чиновниками, новыми

законами и невероятными налогами, стало настолько чудовищно тучным. Он мечтал, что, подобно тому, как вскрывают нарыв, он вскроет брюхо государства и удалит из него агентов, занятых по большей части составлением досье на граждан, подавляя их и заливая законодательным и предписанным уставами поносом. Он видел, как тают свободы и в стране воцаряется бюрократический порядок, полицейский, гнетущий и нетерпимый, который не предвещал ничего хорошего всеобщему мировому порядку. Чтобы ускользнуть из щупальцев этой гидры, он задумал устроить свой сад где-нибудь вдали от городов, на берегу прохладного ручья, в какой-нибудь заброшенной местности. Там они с Флёр могли бы жить голыми. Она занималась бы детьми и скотным двором, а он садом, собаками и птицами. Его переполняли анархистские и ретроградные амбиции.

7

Жерминаль в то время был спокойным юношей, ростом метр восемьдесят, рыжеватым, вялым, нескладным, немного близоруким. Освободившись от военной службы, он пытался найти себе работу по вкусу. Не имея особенных амбиций, влекомый, скорее, мечтами, нежели реальностью, он надеялся, что ему удастся жить где-нибудь мирно под солнцем, вдали от тупых толп и великих волнений, выполняя достойно оплачиваемую работу, но не особенно сложную и ответственную. В то время как раз Компания по восстановлению и переработке металлолома искала директора для своего завода в Бимбуту. Он должен был управлять тремястами несчастных, совершенно не опасаясь забастовок, социальных требований или бунтов. Триста оборванцев, не имеющих профсоюза, счастливых оттого, что имеют работу и не желающих потерять свои

места, были готовы любить своего нового патрона, почитать его, поклоняться ему и, чего бы он от них не требовал, взирать на него с уважением и восхищением. О таком месте и мечтал Жерминаль, особенно если учесть, что на самом деле заводом управлял отставной майор, Леопольд Персепуаль, ветеран Индокитая и Алжира, опасный маньяк, желчный фантазер, который постоянно пихал всем в нос свой опыт, как некоторые пихают свою добродетель, а его опыт, в сущности, состоял из сплошных неудач и естественно последовавших за ними разочарований.

Отъезд в Африку сопровождался душераздирающими сценами. В двух семьях практически все родственники исцарапали себе лица, пролили потоки слез и затопили ими, равно как и советами, молодоженов. Выехав из Парижа в своем автомобиле, но не по шоссе, поскольку им казалось романтичным ехать вдоль берегов Сены, они добрались почти до Гавра. Облака нависали низко, видимость была плохой и трава всюду мокрая от дождя. Коровы на лугах грустно наблюдали за тем, как они проезжали. Зеленые и красные в начале путешествия, они меняли цвет по мере того, как погода портилась и настроение путешественников становилось все более мрачным. На половине пути коровы уже почти облачились в траур, некоторые – черные с белыми пятнами, некоторые – белые с черными пятнами. А за Руаном все они стали черными.

Их старая перегруженная «испано» ползла как черепаха, и они уже даже испугались, что опоздали на корабль, но «Виль де Рипосто»¹ из судоходной компании Больших Озер, как оказалось, сломался, так что, когда они незаметно въехали в Гавр, корабль не только не отплыл, но и не собирался. По крайней мере, в тот день.

1 «Виль де Рипосто» – название корабля, принадлежавшего ранее семье Жибо, но затонувшего в результате кораблекрушения.

Все отели были переполнены, их разместили в зарезервированной для них каюте первого класса, с грязной занавеской и видом на камбуз, душем без воды и забитым унитазом. Поскольку неисправность касалась всей электрической сети, они легли спать при свете керосиновой лампы. Флёр содрогалась от рыданий при мысли, что покидает свою родину, семью, своих кукол и деревянную лошадку. Жерминаля сотрясал нервный тик. Корабль угрожающе поскрипывал и, когда в глубине трюма кто-то открывал кран или же сливал воду, шум распространялся по всему судну и создавалось впечатление, что это происходит в соседней каюте. Поэтому, чтобы их никто не услышал, Жерминаль и Флёр шептали друг другу нежные слова, отложив излишества своих чувств на более позднее время.

Через четыре дня «Виль де Рипосто» наконец вышел в море и для всех, собравшихся на этой посудине, наступило время мучений. Корабль содрогался от любой зыби. При малейшем ветерке он угрожающе раскачивался, и волны заливали прогулочные палубы. Кроме того, он безо всяких причин зарывался в воду носом. Начиналась то бортовая, то носовая качка, и ему удавалось при этом раскачиваться одновременно как с борта на борт, так и с носа на корму. Для пассажиров это представлялось худшим вариантом американских гор, каждую минуту они переживали землетрясение и ожидали кораблекрушения при каждом повороте винта.

Флёр, не умеющая плавать, не расставалась со своим спасательным жилетом. Жерминаль, будучи инженером по образованию, выработал план эвакуации на ближайшую шлюпку, в которой, из осторожности, они провели все шесть ночей путешествия. Смешанная блевота пассажиров и экипажа заливала судовые коридоры, и порой, когда судно давало сильный крен, на палубу изливалось содержимое сортиров. Обилие нечистот сделало палубы

скользкими, и пройти по коридору можно было, только держась за перегородки. Люди уже не разговаривали, все их силы уходило на то, чтобы дышать. Когда какой-нибудь несчастный раскрывал рот, пытаясь что-то сказать, его тут же сотрясали рвотные позывы, тем более болезненные, что людям уже давно было нечем блевать. Большинство мечтало успокоиться навеки. Флёр звала свою мать. У Жерминаля снова начался тик, и он яростно, до крови, грыз ногти.

На седьмой день, содрогаясь в агонии, «Виль де Рипосто» вошел в порт. Над морем показалась радуга и все, находящиеся на борту, затаили в один голос «Ближе к тебе, о Господи»¹, в то время как судно, наконец причалив, в последнем усилии разломилось пополам, и это было встречено всеми, как освобождение.



1 Псалом, который пели пассажиры «Титаника» в ночь крушения.

II – АДСКАЯ МАШИНА

8

Прибыв на место, едва придя в себя после волнений путешествия, Жерминаль серьезно взялся за работу. Завод, которым он собирался управлять, ничего не производил. Он чинил металлические предметы, привезенные со всех концов света. Компания свозила отовсюду материал для восстановления, приобретенный за бесценок у сборщиков мусора и антикваров, или же поставляемый старьевщиками. Индустриальные страны не знали, что делать с мусором, заполнявшим их пригороды, и уступали за бесценок, если не бесплатно, кучи металлолома, которые сваливались на выезде из городов. Самые богатые страны, которые были завалены горами старья, даже платили за то, чтобы избавиться от них.

Компания собирала лишь металлические предметы, детали машин, различные инструменты, миски и кастрюли, ванные, старое оружие, каски, фляги, гильзы, и еще детские машинки, трости, инвалидные кресла, протезы и даже старые консервные банки. Компания бралась за дело, и рабочие демонстрировали свои несравненные умение и профессионализм. В то время как в обществе потребления люди стремились приобретать новое, они прикладывали все силы для восстановления старья.

Крупные промышленные державы заваливали страны третьего мира чрезвычайно непрочными товарами, и нужны были бездны изобретательности и гуманизма, чтобы восстановить их и вернуть к жизни. Это была захватывающая работа, которой Жерминаль и Флёр отдавались всей душой; он занимался техническими вопросами, она – социальными и здравоохранения, поскольку рабочие,

замученные жизнью, так же нуждались в поддержке и восстановлении, как и импортируемый материал.

Вопреки мнению Персепуалы, сторонника сильных мер воздействия, уверенного в своем превосходстве и к тому же расиста, Флёр организовала диспансер, раздачу бесплатного супа, ясли для детей рабочих и вечерние курсы. Здесь уже давно сожрали даже останки мамонтов, поэтому практически все приходилось начинать с нуля. С помощью доктора Будю, пенсионера, ранее работавшего в колониях, она своими белыми руками делала прививки, перевязывала, прижигала, дезинфицировала и не жалела эластичных бинтов и зеленки. Подобно многим медикам она, видя вполне здоровых людей, тут же пыталась найти у них болезни, которые исцеляла очень легко, тем более что они ничем и не были больны. Ей бы очень хотелось пересаживать органы, делать ампутации и лоботомию, но Будю сдерживал ее порывы. По вечерам она обучала грамоте самых отсталых, а наиболее продвинутых – орфографии и басням Ла Фонтена. Стрекоза, Ворона, Муравей и Волк уже не были для них тайной. Она планировала, что вскоре они начнут читать в оригинале Леона Блуа, Лотреамона и Бурдьё. Она думала также о том, чтобы организовать выставку цветов, книжную ярмарку и Академию. Бедняжка пока еще не спятила с ума, но некоторые признаки болезни уже были налицо.

В это время Жерминаля одолевало безумие в другой форме. Влюбленный в собственное тело, которое он считал своим самым верным соратником и лучшим другом, приговоренный жить вместе с ним до последнего вздоха, он жестоко обращался с ним, как и следует обращаться с теми, кого любишь, хотя мазохизм здесь тоже присутствовал.

Каждый день, после захода солнца, он укрощал его. Втянув живот, высвободив свой дух, в набедренной повязке,

скрывавшей лишь фаллос, он вытягивал мышцы, напрягал их и принуждал свои члены к различным экстравагантным и изысканным изгибам, более или менее болезненным. Он изображал змею, кота, угря, но чаще всего обезьяну или птицу. Также каждое утро, после того, как на небе гасли звезды, но до того, как солнце вступит в свои права, он совершал пробежки по дороге. Ни малейшего ветерка; он бежал, слыша лишь шум рассекаемого собственным телом воздуха и дыхания, подобного небольшому горну, устремив взгляд вдаль, разглядывая первые лачуги, верблюдов, зарывшихся в песок, голубые пальмовые рощи с белоснежными стволами, с которых, наподобие корзинок, свисали плоды, – в мокрой, хоть выжимай, футболке, в предраассветной тишине, в этот час, когда, вдали от толпы, Рембо еще спал вместе с птицами.

Вскоре суматоха вступала в свои права, появлялся один, затем два автомобиля, астматик-автобус и собаки, лающие просто так, чтобы приветствовать солнце и убедить себя, что они существуют. На углу белого дома, где находился сад, откуда воспаряли ввысь пальмы, Жерминаль повернул налево. Затем еще раз налево, потом вернулся к себе. Он облил свое белое мускулистое нагое тело водой, которая смыла красную пыль, разбудила Рембо, лавры у дома и кур на насесте.

Персепуаль уже давно был на ногах, он уже начал злиться, выпив подряд вторую или третью кружку пива. Это был настоящий лис пустыни и страж храма. Все ключи хранились в его кармане, – точнее, в кармане его офицерской куртки, к изнанке которой была пришита ленточка военной медали. Уже с шести часов он сидел за рулем своего красного рейндж-ровера с корсиканским номером и отправлялся на каторгу, готовясь заставить попотеть тех, кто носит бурнусы. К черту поэтов, пальмовые рощи, грустных кур, вялых верблюдов и все прочее. Чуть

позже завод начнет работать, и Персепуаль сможет расслабиться, подобно тому, как расслаблялся в Чунгбо¹ и в долине Кувшинов², в Рилане, Сиди Юне³ и в Ауресе⁴. Маленький, плешивый, с брюшком, мстительный. Он является живым доказательством того, что никто не становится майором случайно, и даже когда он выходит в отставку, в нем все равно остается что-то майорское.

Дом директора завода был полностью перестроен. В нем были все современные удобства, кондиционеры, большая кухня, три ваннные комнаты, бассейн. Не приемля кондиционеров, разносящих микробов, вирусы и бактерии, Флёр слишком любила природу, чтобы использовать эти смертоносные машины. И она перерезала все провода. И теперь в этом доме все были обречены подыхать от жары, в кухне, в кабинете и в салоне, будь то хозяин, шофер, повар или горничная. Все испытывали одинаковые неудобства!

Флёр считала противоестественным, если продукты хранились на холоде или на льду, поэтому она отдала холодильник сестрам монастыря Сен-Винсен де Поль. Она хотела жить естественным образом, есть лишь свежие продукты, никаких консервов, ничего приготовленного заранее, и решила, что все должно готовиться дома, причем традиционными способами. Никакого молока в порошке, никакого замороженного мяса, все это гадость.

1 Во Вьетнаме недалеко от деревни Чунгбо в 1954 г. французские войска потерпели сокрушительное поражение.

2 В Лаосе, в долине Кувшинов на нагорье Траннинь были обнаружены огромные гранитные сосуды, вероятно, погребальные урны, датировемые началом нашей эры.

3 В Алжире, в Сиди Юне в 1959 году воевал полк Франсуа Жибо.

4 Аурес – горный массив в Алжире.

У них в загоне жили настоящие кролики, совокупающиеся с настоящими крольчихами, и селезни со своими утками. В результате у них всегда были теплые яички прямо из-под курочки. Как раньше.

Из кухни убрали весь кафель и сделали глиняный пол, а во всем доме деревянный пол заменили циновками, положенными прямо на землю. Огонь разводили в углублениях, над которыми в больших котлах варились продукты, или же их жарили прямо на открытом пламени.

Поскольку Флёр считала, что колодезная вода лучше, чем та, что в городе, все краны были перекрыты. Душ устроили в соломенной хижине, рядом с домом. Воду заливали в одну из трех ванн, которые подвесили на деревьях, снабдив клапаном и веревочкой. Достаточно было встать внизу и дернуть за веревочку, чтобы принять теплый душ. Две другие ванны использовались для того, чтобы поить животных, более или менее диких, живших в саду. Что касается бассейна, поскольку он тоже представлялся противоестественным в таком бедном и засушливом краю, то из осторожности его все же заполнили водой. Чтобы какой-нибудь близорукий, пьяный, либо находящийся в сомнамбулическом состоянии прохожий не провалился ночью в большую пустую яму!

Также по старинке были устроены и прочие удобства, романтическое местечко в глубине сада, рай для любящих полакомиться мух и отвратительных птичек, оттуда черпали удобрения для фруктов и овощей, крокусов, наперстянок, прожорливых злаков, штокроз, лютиков.

Вся мебель была роздана благотворительным учреждениям, а телевизор разбит перед толпой персонала, подобно тому, как сжигали книги во времена Реформации, национал-социализма и в другие эпохи, когда царила нетерпимость. Флёр решила, что непозволительно делать подобные подарки кому бы то ни было. Выбросить

дьявольские оконца! Впрочем, электричество также было упразднено, поскольку она не видела в нем надобности, ведь в доме не осталось никакой бытовой техники. Она предпочитала руки и ноги аппаратам, которые производят шум, воняют и ломаются. Свечи и керосиновые лампы к тому же давали гораздо более приятный свет, чем электрические и неоновые лампы. Впрочем, Флёр и Жерминаль ложились с заходом солнца и вставали с рассветом. К тому же, у них было огромное количество различных ароматных свечей и масляных лампадок, секреты которых Флёр изучила в совершенстве. Также они разбили все зеркала – орудия тщеславия, с течением времени приводящие людей в отчаяние – куски их были разложены в саду, исключительно для развлечения жаворонков. Персепаль присутствовал при этом домашнем разгроме, внешне безразличный, но в глубине души возмущенный. Он считал своих патронов дикарями.

9

Поднявшись, солнце убивало до самого вечера. Оно душило и слепило людей, животных, растения, камни и даже мертвых. Завод работал в полную силу, испуская пугающие жар и шум и, если только не останавливались все станки, приходилось орать, чтобы тебя услышали. Когда случались перебои с электричеством, на мгновение в мастерских воцарялась полная тишина в ожидании того момента, когда группы электриков заменят реле. Остановка сердца. Когда подача электричества возобновлялась, все вновь запускалось, сердце начинало биться, все тряслось, клацало зубами, жестикулировало, дрожало и содрогалось, завод снова одолевала пляска Святого Ги и болезнь Паркинсона. В офисе Жерминаля чашка кофе подпрыгивала на блюдечке. Ему нужно было хорошенько

прицелиться, чтобы поймать это плещущееся пойло, маслянистое и гадкое.

Но жизнь отравляли не только жара и шум. Различные твари также вносили свой вклад. Змеи бесшумно вползали в дома из-под дверей и, выждав момент, внезапно бросались на людей, не говоря уж об огромном количестве ужасно агрессивных насекомых, чьи укусы могли оказаться смертельными. По вечерам комары устремлялись в пике, подобно немецким самолетам-разведчикам, а по ночам огромные пауки и муравьи размером с яйца ползали по лицам спящих. На рассвете их следы обнаруживали на затылках и других частях тела. Приходилось также остерегаться скорпионов, которых по утрам находили в обуви и белье.

Это была целая молчаливая армия, настоящие полчища воинственных тварей, чрезвычайно опасных, которые влезали к людям, чтобы их уничтожить, а вечерами толклись у них в салонах, под подушками, в складках простыней, не говоря уж о самых маленьких, крошечных паразитах и отвратительных микробах, несших с собой инфекцию и смерть, и чудовищах, которые, воспользовавшись темнотой, вылезали из своих убежищ и орудовали по ночам.

Иногда можно было наблюдать, как огромные твари, освещенные мертвенно-бледным светом луны, бегали по деревенским полям и с жуткими криками дрались или совокуплялись. Эти чудища размером с дома скребли землю своими волосатыми лапами. У некоторых были гигантские крылья, иногда они даже летали, и порой по вечерам при свете луны их силуэты вырисовывались на небе. Их тени на мгновение закрывали пейзаж, и слышно было, как они хрипят, подобно умирающим.

Несмотря на облавы, проводимые жандармами на скалах, у озер, в гротах и темных лесах¹, их никак не удавалось поймать, но на земле все время находили их следы, сломанные деревья, истоптанные поля, обгоревшие растения и чудовищные экскременты, которые не могли принадлежать никаким известным животным. Поэтому по ночам, забаррикадившись, как и все остальные, Жерминаль и Флёр прижимались друг к другу. Жерминаль хранил на расстоянии вытянутой руки свою винтовку и ручные гранаты, но чудища ни разу не подходили так близко к дому, чтобы ему представился случай этим воспользоваться. И все же однажды утром в глубине сада был найден труп одной из собак, обугленный как будто струей огнемета. Простолоудины, всегда стремящиеся к критике чистого разума, еще больше утвердились в своих верованиях и больше, чем когда-либо, убедились во всемогуществе воображаемого и в невыносимом чванстве точных наук.

10

Как путешественник, орошающий свою голову водой из фонтана, Жерминаль упивался словами, из которых он составлял фразы. Внезапно появлялись другие слова, порой выражающие чуждые ему мысли, которые он придерживал, не давая им выплеснуться в лицо мира, ибо они заключали в себе частицы его личности. Он писал также и для того, чтобы подавить в себе злобу и прорвать нарывы, страстно надеясь увидеть, как на поверхность поднимаются его самые потаенные воспоминания, а также обмануть смерть. Постепенно из самого его нутра выплывало нечто совершенно невероятное, его большой

1 Намек на стихотворение Альфреда де Виньи «Озеро».

мозг порождал идеи экстравагантные и ужасные, и это было сродни шоковой терапии.

Уединяясь вечерами, он тайком записывал в дневник самые свои абсурдные и интимные мысли: «У Флёр отсутствует чувство реальности, она не замечает, что все привычные устоявшиеся ценности уже поколеблены и что со времен смерти Бога, с тех пор, как он убил себя, никто уже не понимает, зачем построили церкви и для чего они нужны. Она также не видит, что основы мира покачнулись, что уже вдали, подобные ударам пестового молота, слышны шаги какого-то мастодонта, тучи продолжают сгущаться и нам угрожает новый потоп».

Будучи человеком действия, он пытался найти решение, но его романтический взгляд на вещи приводил его к утопическим выводам: «Моцарту следовало бы поторопиться, но только пусть не забудет свой плащ, неплохо, чтобы Сервантес и Гюйя поддержали его по мере сил, пусть взрослым раздадут спасательные круги, а детям – пояса, пусть спустят на воду шлюпки и всех научат грести и плавать, и не забудут взять на борт зеленую кобылу¹ и собаку Баскервилей».

Будучи опубликованы, его насущные пессимистические размышления могли бы изменить порядок вещей и ход времени, перевернуть мир, расколоть его надвое, – на тех, кто за и кто против, готовых пролить свою кровь подобно тому, как наливают прохладительный напиток, и вместе с тем с огромным удовольствием пить чужую кровь:

«Ты, сын Божий, король-младенец, владыка, витающий над толпой, на самом деле ты всего лишь пушечное мясо, из тебя сделают сосиски, размажут по траве. Иссеченные пулеметным огнем, разнесенные ветром

1 «Зеленая кобыла» – роман Марселя Эме.

истории, твои останки падут дождем на выживших... если таковые останутся!»

Подобные примитивные рассуждения приводили его к очевидным выводам, о которые он спотыкался, не имея сил потом ни следовать вперед, ни отступить. Из них формировались горы. Горы абсолютных сомнений и первичных истин, вопросов без ответа, простых банальностей и глупостей: «Нужно ли навязывать демократию силой тем, кому она не нужна? И следует ли развязывать повсюду войны, дабы установить мир? Действительно ли необходимо лечить безумцев? Может быть, лучше научить читать обезьян? Обратить их в католицизм?» Он также высказывал странные предположения и задавал вопросы, затрагивавшие истоки самой жизни: «Когда Христофор Колумб прибыл в Америку, он обнаружил там собак. Кто же успел их туда завезти?» Также вопросы, касающиеся теории эволюции и будущего рода человеческого: «Муравьи все лучше и лучше переносят удушающие газы. Просто их маленькие легкие к ним приспособились. Вскоре они уже не смогут без них обходиться и будут бояться чистого воздуха, опасного для их здоровья».

Пребывая в постоянном диалоге с самим собой, пытаюсь распутать узлы, давившие на его мозг, он совершал длительные прогулки, затевая абсурдные споры и ввязываясь в чудесные приключения, героем которых был он сам, удивляя всех отвагой и смелостью. Один, всегда один, ничего не ожидая от остального человечества, он довольствовался своим положением, своей пассивностью, своей посредственностью. Он опасался всех людей, свернувшись в комок, ожидая конца света.

Жерминаль ненавидел войну, любые войны, потому что ненавидел смерть, которая всегда подкрадывалась

незаметно, а у некоторых могла забрать только одну ногу, одну руку, часть лица, легкое.

Он знал, что при помощи слов можно легко заставить людей выйти на улицы, а затем раздать им винтовки, чтобы сделать из них убийц. Причем, нужно заметить, добровольных! Готовых уничтожать все: женщин, детей, свиней, целые семьи, и цветы, маки, хмель, остролист, чтобы после уже ничего не выросло. Никогда.

«Когда при помощи химического оружия и вирусных бомб они перебьют друг друга, все будет как при сотворении мира. Все надежды рода человеческого будут зависеть от нескольких упрямых головастика и амбициозных улиток. Если же какая-нибудь гетеросексуальная пара болотных червей, или же вступившие в союз липкие солитеры захотят снова размножиться, то все начнется сначала, хотя никакой уверенности в этом нет. Отнюдь. Ничего неизвестно».

Пугающая пропасть, в которую он проваливался, с каждым днем становилась все глубже. Вопиющая бесполезность каждого его шага, жеста, любой мысли выплескивалась ему в лицо, мертвой хваткой брала за горло, подобно медленно расползающейся проказе.

«И все же я никогда не забываю благодарить людей за благо, которое они для меня сделали. Я беру их за руки и легонько встряхиваю. Я также склоняю голову вперед, несколько раз. Они тут же начинают считать себя моими благодетелями, подхихикивают, и я вижу, как они раздуваются. Хорошо бы они все сдохли. Неплохо было бы очистить от них землю или же оставить ее в их полном распоряжении. Отправиться далеко, раз и навсегда – например, сделав всего один выстрел из револьвера, чтобы не подвергаться риску стать вульгарным. Таким же невыносимо, отвратительно вульгарным, как и все».

Он слышал, как из стен и из-под земли доносятся по-добные лаю стоны и смех, разносившиеся отзвуками эха. Это было пение мощных органов полуразрушенных церквей, которые беспрестанно отпевали умерших. Каждое утро, мучимый кошмарами, он просыпался в кровавой ванне, вокруг него плавали охладевшие трупы повешенных, зарезанных людей; и он чувствовал, что настал Судный день: «Они придут и пронзят мне сердце, печень, селезенку. Они распнут меня, чтобы я не смог убежать. Они привяжут меня к батарее. И толпы людей будут смеяться над этим веками. До слез». Он все сильнее ощущал, что его преследуют, тем более, что единственное, чего он желал в этом мире – это править собственной крошечной империей и собирать разноцветные камешки! Он, центр вселенной, жадный до всего маленький белый корешок, которому казалось, что достаточно наклониться вниз, чтобы весь мир перевернулся, прижать голову к плечу, чтобы он перекосячился и выпрямиться снова, чтобы все стало как прежде!

Очутившись на краю безумия как бы у двери ко всем тайнам, Жерминаль парил в ином мире, вне времени и пространства, растерянный, заблудившийся, спасенный. Дорога, которую он себе прокладывал, была усеяна терниями, и он с торжественным видом постоянно натывался на них, что не мешало поездам отправляться, останавливаться на вокзалах и постоянно сходить с рельсов. Корабли заходили в порты, люди бродили туда-сюда. Всюду кишели черви.

11

Страстно влюбленный в искусство, Жерминаль пытался заниматься живописью, скульптурой и даже немного музыкой. Оставив камень и мрамор, он начал лепить из

всего, что попадалось под руку: масла, сыра, фруктов и овощей. Он втыкал вилки и многие другие инструменты в лимоны, огурцы, испанские дыни и арбузы, или же, желая создать произведение искусства меньшего размера, в яблоки, апельсины, бананы, создания эфемерные, подверженные изменениям и частично биodeградирующие. Когда его шедевры начинали гнить и вонять, вилки выпадали из них, и это становилось для него трагедией, вызывало ужас, он ожидал этого с той же тоской, какую ощущал всякий раз с наступлением ночи, при падении ангела, в сумерках Богов, при смерти лебедя.

Тогда он начал создавать скульптуры из колючей проволоки, сухих козявок, шерсти и перьев, дерьма, старых зубных щеток, костей. Он мечтал о жидких скульптурах, об абсолютно неслышной музыке, о черных картинах на черном фоне. Если бы его «меняющиеся пейзажи» стали известны в музеях и галереях, он бы разбогател. Его картины, без красок, без малейших штрихов и даже без холстов, были совершенно прозрачны. Когда их перемещали, то в зависимости от того, что было позади, можно было видеть в рамке пейзажи, леса, берега морей и рек, или же интерьеры, натюрморты, портреты. Каждый раз, как Флёр становилась позади одной из этих картин, ей казалось, что она просто прекрасно выглядит.

Для исполнения его Симфонии №1, названной также «Симфонией Тишины», не требовалось ни одного музыканта, что было весьма кстати, поскольку в Бимбуту не было симфонического оркестра; достаточно было кому-нибудь чихнуть, чтобы испортить исполнение, если какая-нибудь глупая птица начинала петь, или же крыса принималась что-то грызть в глубине подвала, и всё, трамтарарам, – очарование исчезало и приходилось начинать сначала. Также заслуживало особого внимания его замечательное, просто замечательное незавершенное

произведение в восьми частях для мокрых собак, калебасов и воздушных камер.

Творец, свободный как ветер, он вкушал все удовольствия Богов. Именно так он пытался бороться со всеобщим унынием: при помощи штрихов карандаша, своей мандолины, поскольку был человеком образованным, в белом воротничке и даже носил нашивки. Подобно Богу, он умел из ничего сделать нечто.

Ему не платили за то, чтобы он доставлял удовольствие другим людям, которые всегда требуют, чтобы их обслуживали и подносили им привычные блюда; усталый герой, дитя века разрушительного и угасающего, это был художник, создающий образ своего времени, которое, из любви к Искусству и ко всему новому, как и из дурного образования, дурного вкуса, тупости, способно было свести с ума все пять континентов, осушить моря Северные и Южные, и к тому же убить Шуберта.

Пустой бурдюк, рыба на суше, бродячий труп, он тащился, ощущая приступы тошноты, согнувшись под весом всех грехов, как чужих, так и своих собственных, их уродств, готовый как биться, так и сдаться, упасть ниц перед ними, просить прощения, сложить оружие и отдать все, исчезнуть сразу или же, в ожидании смерти, пожить еще немного своей скромной жизнью. А смерть ему почти ничего не предвещало, почти ничего, если не сказать вообще ничего, и все же ему казалось, что она могла вскоре наступить.

12

В большой семье металлургов предприятие Жерминаля оставалось бедным родственником. Сражаясь за него, он сражался за традиции и за все привычное, против

прогресса и новизны, против богатых и молодых и против всех революционных сил.

Это был герой и синий чулок, который хотел повернуть колесо истории вспять и верил в Иисусика и в глупость других людей, в справедливые войны и в борьбу с пауперизмом¹. Он надеялся, что с помощью Святого Духа люди, наделенные простодушной честностью и облаченные в белые льняные одежды, возлюбят друг друга. Он ценил настоящее меньше, чем прошлое, и стартовое положение больше движения. Ему нравились прялки, косы, ручные тележки, велосипеды, но его стремление к прогрессу дальше не простиралось, поскольку он знал, что наука пыталась пустить под пресс все, что он любил. Это был странный тип, чем-то напоминающий красную рыбку, пустомеля и неудачник, какой-то Гамелен², – короче говоря, он жил в своей колбе, феерической вселенной, где был абсолютным королем.

Флёр ждала ребенка! Доктор Будю тщательно наблюдал за ее беременностью и давал ей ценные советы. Ей было необходимо уменьшить свою активность, прекратить кататься верхом, немного приостановить благотворительную деятельность и меньше работать по дому. Но он плохо знал ее огненный темперамент, ее страсть к сильным ощущениям и ее стремление жить быстро. Если она не тренировалась на татами, на ринге или на лошади, то бежала в диспансер, в библиотеку, навещала больных, перевязывала им раны, брала уроки танца живота у Рашиды, или

1 «Борьба с пауперизмом» – название книги Наполеона III.

2 Морис Гюстав Гамелен (1872-1958) – французский генерал, считавшийся одним из виновников поражения Франции во Второй мировой войне, в 1940 г. был арестован и в 1942 осужден на римском процессе над виновниками поражения. В 1943 вывезен гитлеровцами в Германию, находился в концлагере до конца войны.

же изнуряла себя домашней работой, тем более бесполезной, поскольку у нее для этого было пять слуг.

Рашида была старой колдуньей, побывавшей практически во всех африканских борделях. В Джибути, Пернанбуке, Сиди Бель-Аббесе и во многих других местах она повидала значительное количество мужских членов, военных и гражданских, самых разных национальностей и всех цветов, но она также умела исполнять танец живота и вести кулачные бои, петь бесконечные речитативы, подглядывать в замочные скважины, гадать и читать по линиям руки. Она была специалисткой по абортам, прекрасно разбиралась в картах, немного умела исцелять и много воровала.

Флёр сделала ее своей наперсницей и гуру. Она просила ее гадать на картах, протыкать иглой фотографии и крошечные фигурки людей, которых не любила. Все намеченные личности должны были сразу же упасть замертво, но это не всегда получалось. Правда один мужчина из соседней деревни, который бил жену и детей, все же был найден повешенным, после того как Рашида проткнула его восковую фигурку иглами, смоченными в яде рептилии, которую она выкормила у себя в корзинке. Она прокляла женщину, отдававшуюся всем прохожим мужчинам, и та внезапно вся покрылась гнойными язвами, что вызвало отвращение у ее мужа и заставило того переспать с соседкой. Говорили также, что она превратила одного вора в дикого кабана, вызывавшего страх у местных жителей. Она поила Флёр настойками собственного приготовления, сделанными из различных перетертых растений, мочи животных и еще многих вещей, собранных ею в поле и в хлеву.

Жерминаля все это не интересовало. Будучи позитивистом, он долгое время верил в меры и весы и во все, что мог потрогать, оценить, понять. Похоже, сверхъестественное

не особенно его занимало, но, с тех пор, как он поселился в Бимбуту, пытаясь скрыться от вонючих клыков смерти, жизни и прочих сучек, он часто смотрел на небо. С развевающимися по ветру волосами, сотрясаемый трудностями жизни, опьяненный зелеными волнами и пением цикад, он пытался надеяться. Ему на голову падали осколки скал, его будущее было все более неопределенным, все вокруг него рушилось, загнивало, разлагалось, а он, мокрый затраханый кот, продолжал надеяться! С приставленным к горлу ножом, дулом ружья у виска, на краю пропасти, он все еще надеялся! Он даже верил в существование Бога, неба и святых, из которых предпочитал Франциска, друга птиц, Антония, способного помочь ему найти пропавший бумажник, Марию Магдалину, поскольку та была грешницей, и Себастьяна, которого полюбил благодаря Мисиме; хуже всех в его глазах был Святой Губерт, покровитель убийц оленей. Чувствуя себя прекрасно на свалке древних богов, в круг которых он осмелился включить жалкую выскочку низкого происхождения¹, он изучил все их особенности, и к каждому испытывал различные чувства: привязанность, безразличие или ненависть. Так он благодарил Морфея, когда тот принимал его в свои объятия, Амфитриту и Нептуна, когда плавал в океане, Венеру, Приапа и Купидона, когда был в экстазе, и Бахуса всякий раз, когда заливал за воротник. Более натянутые отношения у него были с Дианой-охотницей и с Марсом, к которым он чувствовал лишь неприязнь. Зевс и Юпитер казались ему претенциозными, Гермес, Меркурий, Пан и жирная Юнона вульгарными, а Лары столь же отталкивающими, как и Пенаты. Что касается богини Разума, то он, совершенно справедливо, считал ее занудой.

1 Автор имеет в виду богиню Разума, которой поклонялись во время Французской революции.

Чтобы наверстать упущенное в своем несчастливом детстве, Жерминаль завел двух любовниц, черную и белую. Черной любовницей была его секретарша, роскошный южный цветок, такиянка ростом метр восемьдесят, с пышным бюстом, водруженным на мощный круп. Он каждое утро овладевал ею на своем столе, предварительно попросив телефонистку не соединять его ни с кем. Любовники в полной мере наслаждались друг другом. Вместе они воспаряли до небес на несколько мгновений, и это были лучшие мгновения за весь день. Затем, чтобы немного дезориентировать остальных служащих завода, он грубо орал: «Мадмуазель Вивиан, я уже пятьдесят раз вам говорил распечатать талоны на доставку в трех экземплярах! Сколько раз можно вам повторять? В следующий раз я вас уволю». Бухгалтер и его помощницы, которые работали в соседнем офисе, опускали головы, испуганно горбились и утешали Вивиану, когда она выходила от патрона. Надо признать, что и она прекрасно играла комедию, доверительно сообщая коллегам по работе: «Мне уже начинает надоедать, когда на меня орут и постоянно мешают с дерьмом. Если я его не устраиваю, пусть найдет себе другую секретаршу. За кого себя принимает этот тип?» На заводе все перешептывались, что она была его козлом отпущения и он срывал на ней усталость и плохое настроение и что он ужасно обращается с этой несчастной девушкой, которая старательно работает, не жалея своих сил и времени.

Но зато у Персепуаля случались гораздо более серьезные приступы гнева, которые ни в какое сравнение не шли с притворными припадками Жерминаля, все на заводе говорили, что «это серьезно», тем более, что они были несправедливыми, к тому же Персепуаль постоянно употреблял чрезвычайно грязные выражения. Он был настоящим работорговцем. «У меня все эти тупицы уже вот где. Вы только посмотрите, как этот придурок держит молоток.

Это же не хрен, козел, это молоток. Если ты так за него берешься, когда вставляешь своей жене, я ей искренне сочувствую. А если тебе наставляют рога, то ты сам этого добился». Персепуаль воплощал собой самую вульгарность, как с мужчинами, так и с женщинами и даже со своей собакой, с которой он обращался именно как с собакой, постоянно и безо всяких причин пиная ее в бока. Но чем больше он ее пинал, тем больше собака его любила, и вид у нее был такой, будто она постоянно просила у него прощения за то, чего не делала.

В городе многие думали о том, как бы избавиться от майора, у которого не было ни белой, ни черной любовницы, а только жена на Корсике – по слухам, старая уродина – и пс Бонапарт, над которым он издевался. Опасаясь покушений на убийство, Персепуаль никогда не выходил по вечерам. Он был не так глуп. Он слишком дорожил своей жизнью. К тому же по вечерам дома он никогда не чувствовал себя одиноким, у него всегда были в запасе несколько бутылок красного вина, готовые составить ему компанию.

Иногда у него случались приступы белой горячки, и он впадал в буйство. «Долой всех», «Да здравствует Ландрю!»², кричал он иногда, «Горгулова¹ в правительство, рогоносцев на всеобщее обозрение, коммуняк, клошаров, туберкулезников, педиков спустить в сортир». Проклятия Камиллы³ по сравнению с этим казались просто синекурой, а Агриппина⁴ – голубкой! У него для всех были припасены комплименты: «Навозники, жопы», но понятно,

1 Анри Дезире Ландрю (1869-1922) – французский маньяк, убивавший женщин.

2 Павел Горгулов – русский, убивший президента Франции Поля Домера, гильотинирован в 1932 г.

3 Героиня трагедии Корнеля «Гораций» (1640).

4 Героиня трагедии Расина «Британик» (1669).

что никто ему не отвечал. Первый, кто поднимал голову и произносил хоть одно слово, получал в ответ целый ушат, так что люди просто сутулились и притворялись глухими. Они ожидали конца тревоги, чтобы выйти из укрытия. Нужно отметить, что это было невыносимое зрелище, слушать тоже было тяжело, могло и стошнить.

Белая любовница Жерминаля совсем не походила на Вивиану. Он трахал ее не так часто, и их отношения были не столь страстными, более продуманными. Соланж Бриду, на десять лет старше его, была женщиной с неподвижным лицом, она носила платья в цветочек, как будто сшитые из дешевых обоев. Она была не такая мясистая, как первая, и даже на верхней губе у нее виднелся пушок, какой часто бывает у сестер милосердия.

Однажды эта женщина с королевской осанкой высадила со своими чемоданами из автобуса на площади 21 мая 1932. Сперва она устроилась в отеле для путешественников, затем в служебной квартире, которую ей отвели в средней школе, которую она возглавила. Вид у нее был суровый, но она постоянно жеманничала и подпрыгивала, порывисто смеялась по пустякам и определенно была не особенно умна, зато неплохо виляла задом. Стоило ей снова натянуть трусы, как она тут же принимала чопорный вид дамы, сдающей стулья напрокат в общественном саду, так что никому ни в городе, ни на заводе и в голову не могло прийти, что она вообще способна спать с Жерминалем. «Она слишком уродлива», – говорили одни, «Он слишком любит Флёр», – говорили другие, и кроме того все думали, что она девственница, к тому же фригидная.

Любовники могли встречаться, не вызывая подозрений, но им приходилось действовать быстро, чтобы их не застукали, и обычно они совокуплялись наспех, часто после закрытия завода и школы, когда она приходила к

нему под предлогом неотложного делового разговора. Однажды они занимались любовью поздним вечером в машине Жерминаля и два раза в туалетах городской ратуши после торжественных фуршетов, пока остальные пьяные гости толклись в главном зале. Любовники могли позволить себе лишь краткие соития, что вынуждало Жерминаля заводиться с четверти оборота и кончать еще быстрее. Это было подобно выстрелам из ружья, вспышки от которых, к счастью, доставались Флёр.

Несмотря на советы и заботы Будю, через три месяца у Флёр случился выкидыш, после того, как она исполнила танец живота в Доме культуры. Жерминаль был вне себя от горя, обвиняя свою жену, что она постоянно ведет себя как безмозглая дура. Он упрекал ее в том, что она слишком много занимается чужими детьми, а вот на своего внимания не обращала; между тем, это крошечное существо должно было навеки закрепить их любовь и оправдать их существование. Он обзывал ее идиоткой и приписывал ей несознательность и эгоизм. Однако оба они желали появления этого ребенка, который бы определенно придал их жизни новый смысл. Старик Будю, который прожил долгую жизнь и охотно распространялся на тему отрицательных сторон перенаселенности, утешал их как мог. Сохранивший юность благодаря «Источнику молодости аббата Сури» и фосфатину Фальера, который он принимал вместе с известковым фосфатом доктора Пинара, этот старый вояка изрекал флегматически, чуть снисходительно и почти по-отечески прописные истины: «Мои бедные друзья, это было угодно Богу. Именно он вершит все – и добро, и зло. Этому ребенку повезло, что он не увидел нашего омерзительного мира, грязного, полного эпидемий, религиозных войн, которому грозят бактериологические бомбы. Христианская эра подходит к концу!

Малышу повезло, что он не появился на свет!» Будю был сама доброта и умел утешать. Подобно кюре на похоронах, он владел искусством превращать проклятия в благословения и благодарить Бога за несчастья, которые он вам посылает. Будучи фаталистом, он не пытался быть хозяином своей судьбы и смеялся над человеческими амбициями. Он был мудрецом и святым – на свой манер.

Но все-таки Жерминаль страдал, не внимая доводам рассудка. Больше всего он боялся смерти, причем не столько своей, сколько чужой. Именно чужой смерти он не мог вынести. Смертей детей и стариков, ужасающе несправедливых, переворачивающих душу, отвратительных, сучьих. Хотя он видел в деревне, как умирают молодые и старики, час которых пробил. Именно его извещали об этом в первую очередь, особенно по ночам, чтобы он пришел и посмотрел, констатировал, сделал все, что требуется, как будто он что-то мог изменить; он был вынужден говорить слова, которых от него ожидали, давать бессмысленные указания, просто, чтобы показать свою власть.

Когда Жерминаль появлялся из темноты со своим фонариком, все успокаивались. Он хорошо говорил, задавал нужные вопросы, вносил спокойствие, и, ничего не меняя, изменял все.

В Бимбуту процветала торговля колдовскими аксессуарами. Старухи считали, что способны исцелить любые болезни своими заклинаниями, манипуляциями и травами, колдуны брались за исправление дурных судеб и изгнание бесов из одержимых. Был также один альбинос, который держался на расстоянии, но некоторые тайком все же к нему приходили. Он продавал настойки, исцеляя наложением рук импотенцию и бесплодие. Он мог поразить молнией ваших врагов и заразить их смертельными болезнями, он также запугивал всех, и многие находили

утешение в том, что просто так давали ему деньги, если, конечно, не покупали у него курицу, утку или барана.

Некоторые колдуны погружались в реку и превращались в кайманов. Слышно было, как по ночам они перекликаются на разных берегах, и было видно, как они скользят между тростниками в свете луны. Рассказывали, что они похищают детей, чтобы забрать их в другой мир или же просто съесть, и многие ветераны подтверждали, что были свидетелями подобных происшествий. Именно поэтому с самого заката солнца и до рассвета детей не выпускали из дому. Также все боялись мутаций, метаморфоз, перемен пола, заговоров, реинкарнаций жаб, кабанов и индюшек; к тому же гораздо больший страх вызывали похитители душ и разума, нежели те, кто покушался на ваш бумажник или сейф.

Флёр оставляла у дверей альбиноса тарелки с едой, фрукты и рахат-лукум. По вечерам с друзьями они разводили большие костры, и все вместе без усталости танцевали, беззвучно вращаясь вокруг своей оси, одухотворенные дервиши, одержимые музыкой, вдали от ветров и мертвых, в ином мире. Она носила на себе самые разные амулеты и гри-гри и, поскольку Рашида обучила ее всем заклинаниям предков, она нисколько не боялась кайманов, но просто молилась им. У нее был договор со всеми силами добра и зла, а также с духами, обитающими на дне реки.

И Флёр жила настоящим днем, подобно всем представителям флоры¹, погружив ноги в воду, созерцая небо, в полной безмятежности.



1 Намек на стихотворение Ронсара «К Розе».

III – ОГОНЬ

13

Одно лишнее слово, которого не следовало бы произносить, и Цезарь впадает в ярость, глаза его наливаются кровью, он стучит кулаком по столу. Агриппина начинает вопить на кухне, она всполошила соседей, разбудила целый квартал, люди вышли на улицу. Шум пугает всех, остальные прилипают к окнам, затем также спускаются на улицу. Вначале их всего сто, потом уже сто тысяч, они готовы разнести дом, поджечь весь город, даже целый континент. Здесь не нужны ни споры, ни серьезная ссора, достаточно какой-то безделушки, депеши, шушуканья в коридоре, хлопка, чтобы какой-то бесноватый громко заговорил на почте, и вот они уже убивают друг друга, христиане – не христиан, белые против белых, черные – друг друга, китайцы тоже, Кастор – Поллукса, кузены – кузин, папы – мам, близнецы – близнецов, Элоиза – в одном лагере, Абеляр в другом.

Слабый звук рожка, рокот барабана, и вот уже все вскочили на ноги, особенно если их немного раздражить, соблазнить чем-нибудь, чтобы они лучше вошли в роль, возбудились: «вступайте, выступайте», «голубая линия Вогезов», «железная дорога», все предлоги хороши, чтобы призвать граждан к оружию, сердечному договору, пакт о том, альянс об этом. Они готовятся всего лишь к небольшому крестовому походу, это мелочевка какая-то, военная прогулочка. Вперед, сыны, просыпайтесь, день славы настал, Родина в опасности, пусть их нечистая кровь обогривит наши следы. Мы сейчас спасем род людской, умрем за английскую королеву, короля Пруссии, императора, его жену и маленького принца, Полеона, Тотора.

Конечно, ради этого стоит выйти на улицу, посмотреть, что же там происходит, встать в один ряд с Дюранами, которые уже вместе с Морисом, тетушкой Урсулиной и Мартэн-Дюбуа, нужно орать, как они, делать то же самое, постараться не пропустить спектакль и раздачу пулеметов, касок с пиками, противогазов и витаминизированных сухарей.

14

Вся провинция, в основном, была населена сакаленами и трабузуками, которые издавна ненавидели друг друга, но среди них были представители всех племен. Когда одни попадались другим, им приходилось несладко! К тому же сакалены были фетишистами, а трабузуки верили только шаманам, и это весьма усложняло ситуацию. У каждого племени был свой язык, свои обычаи, свои нравы, свои боги. Сакалены были пацифистами и отличались терпимостью, в то время как трабузуки – яростными ксенофобами. Первые были вооружены всего лишь дротиками, старыми охотничьими ружьями и мушкетами, а у вторых имелось оружие более совершенное, минометы 90-х, французские винтовки образца 1936 года и тяжелые пулеметы, не говоря уж о том, что они были искусными подрывниками и минерами.

Еще издавна трабузуки, горцы, необразованные мужланы, спускались в долину, особенно когда у них наступали трудные времена, и грабили своих более богатых, радужных и цивилизованных соседей. Когда жара и запах пороха возбуждали их, они проявляли невероятную жестокость, убивая как вполне полноценных мужчин, так и женщин, стариков и детей.

Администрация колоний привнесла в регион некоторое спокойствие, и убийства стали не такими частыми,

как во времена короля Менелая¹, но независимость дала освобожденным народам возможность самим управлять миром, поэтому трабузуки снова стали внушать сельским жителям вполне обоснованный страх. Угроза засухи, падежа скота, поражавшего их стада, и бессмысленные речи некоторых агитаторов вполне могли разбудить дремлющие страсти и естественную подлость, притаившуюся в каждом из них. Старцы объявили всеобщий сбор, винтовки были извлечены из хранилищ и вновь сформированы вооруженные банды.

В течение дня группы продвигались вперед как можно дальше, забираясь в пересохшие русла рек, где и прятались до ночи. Затем мужчины медленно шли колоннами к деревням, в то время как другие толпились на дорогах, чтобы преградить доступ подкреплению. Командиру было приказано поджечь деревню, убить как можно больше мужчин, угнать побольше скота, а остальной забить. Время от времени партизанам попадался автобус с мирными жителями или с детьми. Тогда совершенно безнаказанно они могли удовлетворить свою тягу к убийству и насладиться от души.

Как только воинственные вылазки возобновились, Жерминаль передал власть Персепуалю, чтобы организовать защиту. Таким образом, почти семидесятилетний майор получил достойное поручение и возглавил командование. Поскольку железа у них хватало, он дал задание набивать снаряды и патроны иглами, что казалось ему гораздо эффективнее обычных пуль. Сразу после выстрела из пушки, колючки разлетались в разные стороны, и одним снарядом можно было убить несколько человек. Персепуаль заставил вырыть рвы в Вобане и, поскольку

1 В греческой мифологии – сын Атрея и Аэропы, брат Агамемнона.

он не мог наполнить их водой, он разместил там светящиеся мины и злых псов, которые могли просто покусать трабузук и разубедить их идти дальше, к тому же подать сигнал тревоги. К несчастью, собаки были плохо выдрессированы и, вместо того, чтобы лаять только на врагов, они начинали хрипеть, стоило мимо пройти какому-нибудь мулу или же просто шевельнуться листику. Стража и гражданское население по ночам не смыкали глаз. При первых «гав! гав!» люди сразу же садились, затем выпрыгивали из кроватей и бежали ко рвам, чтобы дать отпор нападавшим.

Из вырытой земли Персепуаль воздвиг укрепления с галерей с бойницами и тропинкой сверху. У каждого бойца был свой пост и под рукой метательные снаряды, острые шероховатые камни, змеи в ящиках, готовые наброситься на врага, и ночные горшки, чтобы выливать их на головы нападавших. У каждого за поясом был кухонный нож, и все наизусть выучили как нужно действовать в том случае, если трабузук попадет им в руки. Хотя все знали Женевскую конвенцию, был отдан приказ убивать пленных как можно гуманнее. Дать несколько секунд, чтобы они помолились, предали свои души Богу и оп, кухонным ножом перерезать им горло.

Персепуаль, у которого практически отсутствовало чувство юмора, называл это «конвенцией Бимбуту». «Соблюдайте конвенцию Бимбуту, таков закон войны». И он был прав, поскольку, если бы Персепуаль попался трабузуку, его бы на следующий же день обнаружили кастрированным, с членом и яйцами, засунутыми в рот. Никто не знал, нужны ли еще его причиндалы его находящейся на Корсике жене, но все же, если бы трабузуки поймали и оскотили майора, этой несчастной осталось бы только лить горькие слезы. Так что Персепуаль был готов яростно защищать свой прибор, и его жена тоже помогала ему в этом, как

могла, каждый день ставя свечки в соборе Бастии, моля Господа пощадить их фамильные драгоценности.

Все шло к мировой войне, она могла разразиться в любой момент, охватив как военных, так и гражданских лиц. Никаких «стреляйте первыми, господа англичане»¹, обойдемся без дурацких фраз. Око за око, зуб за зуб. Нужно было видеть, как Персепуаль тренирует своих солдат, показывая, как лучше действовать. Когда Персепуаль, весь всклокоченный, с вытаращенными глазами, сжимал в зубах нож, он был неподражаем. Он испускал ужасные крики, расставив ноги, подобно бойцам сумо, скорчив жуткую рожу, изображая дикого зверя. Когда он заканчивал эти демонстрации, отовсюду доносились крики «ура!». Его настолько переполняла настоящая ненависть, что он стал уже истинным идолом, тем более, что Капитолий так же близок к Тарпейскому утесу², как и Тарпейский утес – к Капитолию!

Соланж Бриду, обожавшая историю белая любовница, тоже на свой лад участвовала в обороне, каждый день поднимаясь на крышу школы, чтобы проследить полет диких гусей. Если они улетали налево, в зловещую левую сторону, которую римляне уже давно называли «la sinistra», она тут же предупреждала Персепуаля, и тот удваивал охрану. Если гуси летели вправо, то все спали спокойно.

Война всегда немного похожа на праздник, особенно до нее и после. Сами же военные действия не так забавны. По окончании конфликтов выжившие обмывают окончание битвы, а перед сражением страх смерти заставляет радоваться жизни. Перед началом схватки демагоги

1 Фраза, произнесенная командиром французов маршалом Морицем Саксонским в битве при Фонтенуа в 1745 году, во время войны за Австрийское наследство.

2 Тарпейский утес находился на южной стороне Капитолийского холма, в Древнем Риме с него сбрасывали приговоренных к смерти преступников.

начинали голосить, и через распахнутые двери доносились музыка, пение и смех. Никогда столько народу по ночам не посещали злачные места и никогда так не веселились. Все сорили деньгами, торговля процветала, и алкоголь лился рекой, несмотря на все запреты. Люди вели себя как добрые католики, они разрешали себе выпить немного пивка, затем ликерчику и бутылочку божоле. Братские чувства оправдывали любые выходки, все хлопали друг друга по ляжкам и по спинам, невзирая на различное положение, на улицах по вечерам можно было встретить прогуливающихся рука об руку Флёр, Персепуаль, черную и белую любовниц, и Будю, кроме того личностей с саблевидными ногами, которым в мирное время никто бы и руки не подал. Все верили в победу и всюду пели «Выпьем по стаканчику», «Отправляясь в Лотарингию», «Мы развесим белье на линии Зигфрида», «Интернационал» и «Партизанскую песню».

Несмотря на охватившее всех радостное волнение, какое обычно сопровождает встречу героев, Жерминаль предчувствовал близкое крушение иллюзий. Он не любил войну и смерть, он оставался сторонником мирных переговоров. Флёр разделяла его мнение, но Персепуаль был против. Ему была нужна война. Ночью, чтобы заставить людей выйти из бистро и отправиться домой, Жерминаль ввел комендантский час. И на какое-то время город погружался в тишину и мрак. Страх сменял эйфорию, и все прятались по домам в ожидании первой бомбы.

Редкие путешественники, отважившиеся проехать по взбунтовавшейся провинции, отмечали грабежи и убийства, небезопасные пути сообщения, всеобщее бегство в города и отсутствие страха перед репрессиями. На дорогах хозяйничали бандиты, по всей стране горели церкви и разрушенные деревни, всюду царило запустение.

Когда войска правительственной армии приближались, опускались разводные мосты и весь народ выходил на улицу, чтобы приветствовать солдат, которые сорили деньгами в кафе и борделях. Пришлось снова открыть один бордель, Флёр осуществляла надзор, Рашида была хозяйкой, а Будю врачом. Он отвечал за профилактику. Будучи образцовым, это заведение никогда не пустовало. Короче, если бы войн не существовало, их следовало бы придумать.

Мысль о будущей войне окрыляла Персепуаля, ему очень не хватало убийств, которые он совершал во время своей военной службы. Он не думал об этом, просто в нем просыпались порывы, подобные инстинктам животных. Обычно он выражал свои чувства ударами кулака по столу, а также угрозами, оскорблениями и шантажом. Невротик, женоненавистник, ксенофоб, ненавидевший всех и никого не любивший, гомофоб, истерик и нигилист, он выступал за классовую борьбу и, точно не понимая о чем речь, против девиации континентов.

Сторонник евгеники в худшем смысле этого слова, постоянно жаждавший крови, мести за все, что угодно, и беспричинных репрессий, это был монстр, садизм которого принимал угрожающие масштабы, стоило ему выпить пару лишних стаканов. Тогда его глаза наливались кровью и вращались, как у безумца, он был готов истребить не только всех задротов в учреждении, где работал, но и все человечество. Этот несостоявшийся цезарь постоянно стремился навести порядок и развязать войну, хотя с таким же успехом мог бы стать живодером, ассенизатором, наемным убийцей или тореадором, вивисектором, питбулем, что доставило бы ему гораздо больше удовольствия.

Занимаясь подготовкой к войне, Персепуаль изучил работы всех величайших стратегов, от принца Евгения

до Клаузевица и от Лидделла Харта до Гудериана и Роммеля; ему тут же пришлось в голову создать мощную армию с моторизованной пехотой, командирами, танками и даже авиацией, что прекрасно соответствовало его агрессивной натуре. Он начал уже покрывать броней желтый грузовичок, развозивший дамскую галантерею, почтовую машину, два или три автобуса и все автомобили компании, которые он оснастил пулеметами и стальными пластинами, произведенными на заводе. Уцелела лишь одна «испано-суиза», и то из-за солидного возраста.

Из нагруженных броней машин было ничего не видно, колеса сплющивались под ними, и если бы бронированную дивизию Персепуаля вывести на дорогу, она бы и с места не сдвинулась. Пацифисты Жерминаль и Флёр чувствовали отвращение при одной мысли о битве, это противоречило их христианским убеждениям. Дурные воспоминания о крестовых походах, отступлении русских и мексиканцев, заставляли их выбрать войну в окопах. Грядущая ответственность за возможные убийства тяготила граждан, тем более, что в обязанности мирного населения не входило ведение войны, они не были на это способны. Следовательно, было решено, что автомобили, оборудованные Персепуалем, будут установлены на постах в разных концах города и их используют в качестве артиллерии. Что касается авиации, в распоряжении Персепуаля были только два клубных аэроплана, которые он использовал в качестве самолетов-разведчиков, однако, одержимый манией разрушения, собирался переоборудовать их в бомбардировщики.

В рамках этой оборонительной стратегии, Персепуаль окружил город ограждениями из колючей проволоки и различными видами ловушек. Он вырыл довольно глубокие каналы, в которые каждый день ассенизаторы сливали содержимое своих бочек. Тщательно замаскированные

ветвями и листьями, эти ямы были незаметны, особенно по ночам. Все надеялись, что, угодив в такую яму, трабузуки начнут ругаться и всполошат стражу. Также были подготовлены осветительные ракеты, бенгальские огни, заряды, оставшиеся после последних салютов, и капканы, которые использовали браконьеры для ловли кроликов. Защитников снабдили различными видами ловушек и шутих, что было весьма забавно; к тому же, поскольку враг медлил с атакой, войну можно было назвать странной.

15

В ночь с 21 на 22 июня, к двум часам, когда луна только что скрылась и видимость была нулевой, рассчитывая на сильную жару и на то, что осажденные только что отпраздновали день летнего солнцестояния, группа из сотни трабузуков приблизилась к колючей проволоке, ограждавшей город. Ни один из них не угодил в капкан, не сработали ни осветительные мины, ни бенгальские огни. Но одна старая собака, страдавшая бессонницей и еще не лишившаяся обоняния, начала надрывно лаять. Тотчас же все молодые собаки, которые спали и ничего не чувствовали и не слышали, стали вторить ей в унисон, а стража в это время приводила в действие сирены тревоги, клаксоны, трещотки, свистки и мобильные телефоны. Через несколько мгновений кюре зазвонил в колокол, а муэдзин, вскарабкавшийся на свой минарет, призвал население к святой войне.

Когда Персепуаль прибыл к укреплениям, первые трабузуки уже преодолели колючую проволоку и направились на разведку в сторону ям. Он зажег фары на бронированных машинах и увидел размах вражеской атаки. Его внутренности свело от страха и он, облегчившись в один из горшков, которые специально были расставлены

вокруг, принял на себя командование с примерной смелостью и выдержкой.

Винтовки системы шаспо отвечали калашниковым, стрельба шла во всех направлениях. С обеих сторон истратили множество патронов без видимого результата. Трабузуки водрузили миномет, чтобы разнести центр города, но им оказалось трудно управлять ночью, и снаряды падали в никуда, летели в воздух, а затем дождем сыпались на различные кварталы, отчего всюду лежали груды обломков. Запах, буквально омерзительный, сделался невыносимым. Это была химическая война, о которой никто не подумал. Противогазов не хватало, и Персепуаль досадовал, что не предусмотрел этого.

Трабузуки, уже проникнув в водяные рвы, гладили собак, которых всегда любили, и взрывали мины и светящиеся снаряды. В двух лагерях, каждый раз, когда ракета взрывалась в небе, слышались «ваууууу, как красиво, голубая! вауууу, красная!». Осознав предательство собак и неэффективность пиротехнической защиты, женщины голыми руками хватали змей и бросали на агрессоров, карабкавшихся на стены. Некоторым змеи попадали прямо на голову, и трабузуки останавливались; к тому же заряженные гвоздями винтовки тоже не молчали, и многие из нападавших были ранены в мягкие части тела. Те же, кому удалось подползти ближе, были облиты содержимым ночных горшков, стекавшим по их лицам и шеям.

Несмотря на огромное численное превосходство трабузуков, исход битвы представлялся неясным. Стрельба из минометов продолжалась, град осколков сыпался на защитников осажденного города. Легкое и тяжелое оружие, которым располагали трабузуки, совершенно им не пригодилось, их слепили фары бронемашин, и приходилось стрелять наугад. Они напрасно тратили боеприпасы и вскоре начали задыхаться, поскольку воздух сильно

портили выхлопы от снарядов, которыми они стреляли. Практически всю армию осажденных пробрал понос, так что женщинам не стоило никакого труда вновь наполнять ночные горшки. Нужно также сказать, что нападавшим мешали ползавшие у ног змеи и извивающиеся собаки, которые терлись о них, требуя ласки.

В час, когда светлеет небо над деревней, все еще оставались на своих позициях, но боеприпасы были на исходе, и командование трабузуков решило отступить. В замгильной тишине люди отошли назад и исчезли в темноте, из которой появились несколькими часами раньше. И тогда в осажденном городе раздался великий крик радости, исторгнутый тысячами глоток.

Оставалось пересчитать мертвых, и тут с удовлетворением обнаружили, что таковых не имеется. В больнице оказали помощь одному типу, который прищемил палец дверцей желтого грузовика, нескольким, страдающим кишечными расстройствами, и одному астматику, у которого была аллергия на запах отбросов и испражнений, в огромных количествах сброшенных на население. Будю и Флёр самоотверженно и старательно ухаживали за ранеными. Персепуаль пока не выиграл войну, но зато одержал небольшую победу¹.

16

Чтобы каждый гражданин имел возможность отпраздновать отступление трабузуков, Жерминаль решил, что целую неделю никто работать не будет. Об осаде и победе писали по всей стране, даже за границей появились радиорепортажи и отчеты в ежедневных газетах и

1 Намек на фразу, произнесенную де Голлем в Лондоне в 1940 году: «Мы потерпели поражение в битве, но пока не проиграли войну».

международных журналах. Повсюду эту победу приветствовали как должную, как победу над анархией, что не особенно понравилось Жерминалю, взгляды которого были довольно либеральными и который так и не мог разобрататься в терзавших его противоречиях.

После этих праздничных дней, когда население совершенно расслабилось под руководством Рашиды, всюду устраивавшей танцы, Жерминаль вновь собрал Совет безопасности, состоявший из его белой любовницы, Персепуаля и Будю. Флёр выполняла обязанности секретаря, именно она составила протокол собрания. Этот документ, и по сей день выставленный в городском музее, начинался прочувствованной похвалой Персепуалю и воздаянием почестей храбрости гражданского населения. Совет принял решение переименовать главную городскую магистраль из Проспекта Франции в Бульвар 21 июня и назвать привокзальную площадь именем Леопольда Персепуаля. В городе никогда не было железной дороги, но в конце 19-го века, в период колонизации, члены городского управления называли так главную площадь в городе, как из тщеславия, так и чтобы безуспешно заставить власти построить железную дорогу.

Было подано множество петиций с требованиями воздать различные почести и установить монументы Жерминалю, Флёр и Будю, но из скромности они этому воспротивились. Отсутствие жертв позволило сэкономить на памятнике погибшим, что всех устраивало, поскольку битва обошлась недешево и городская казна опустела.

Чтение этого исторического протокола показало, что Жерминаль решил выработать определенную политику в отношении трабузук, которые, перевязывая свои раны, готовились взять реванш. Персепуаль и белая любовница выступали за войну, Жерминаль и Будю – за переговоры.

«Если на нас нападают с подобной наглостью и в открытую, мы не собираемся унижаться и просить о милости! Мы не мокрые курицы. К тому же, это было бы оскорблением для всех, кто защищал родину. Оскорблением для наших павших», – заявил Персепуаль. Жерминаль заметил, что мертвых не было, что они выиграли не войну, а только одну схватку, и что всегда нужно вести переговоры, тем более, если ты сильнее противника. Он придерживался мнения, что нужно поискать среди отважных бойцов желающих участвовать в мирных переговорах. Услышав это, Флёр упала в обморок, и в протоколе отметили, что заседание было прервано, чтобы Будю смог привести ее в чувство. В конце концов, после удаления белой любовницы, сторонники мира одержали верх над сторонниками войны, и Жерминалю было поручено пойти на сближение с противником, чтобы попытаться выработать достойные условия мирного договора.

Встреча с вражеским командиром организовывалась в большой тайне и при посредничестве Международного Красного Креста. Жерминаль из осторожности попросил у Персепуаля в назначенный день подстраховать его; таким образом, главный сторонник войны следил за переговорами через оптический прицел винтовки, что делало положение Жерминаля чрезвычайно опасным, даже смертельно опасным, ибо плохие стрелки способны влить пулю в голову тем, в кого не целятся. Почему-то они особенно метко стреляют мимо мишени. С этой точки зрения у Персепуаля была очень твердая рука.

Жерминаль проследовал на нейтральную территорию. Его высоко поднятая голова, уже немного полысевшая, блестела на солнце. Он вынул руки из карманов, чтобы было видно, что он безоружен. К нему направился тощий тип с тонкой, как у девушки, талией, на голове у

него была зеленая кепка, он скрестил руки на груди, подобно какому-нибудь христосику, показывая, что у него также нет оружия. Двое мужчин приблизились друг к другу, их одежда развеялась на легком ветру, погода была прекрасная. Пожав друг другу руки, желая показать, как враги могут уважительно относиться друг к другу, они крепко обнялись, – наверняка еще и для того, чтобы проверить, не спрятано ли оружие под этими просторными одеяниями. Еще немного, и они бы поцеловались враскос, но до этого не дошло.

Сидя лицом к лицу на небольших возвышениях, сложенных из сухих камней, они долго рассматривали друг друга и обменивались банальностями. Жерминаль прихватил с собой фляжку с коньяком, из которой оба отхлебнули. Когда ты пьешь с кем-то из одного горлышка, это сближает, как будто связывает, и ты уже можешь говорить о том и о сем, но только не о войне и не о мире. Жерминаль даже начал говорить комплименты – как прекрасно трабузуки провернули операцию, об их искусстве прятаться, продвигаться вперед незаметно и проходить сквозь стены, когда это необходимо.

Представитель противника ловил кайф, ему доставляло удовольствие и льстило, что такой известный всем стратег признал его таланты. Еще Жерминаль восхвалял свободу и храбрость, необходимые для восстания против существующего порядка. Он пожалел горцев, гораздо более умных, чем жители долин, которых угнетали долгие годы колонизации, и сравнил волков с собаками, всегда предпочитающими миску со жратвой свободе, в то время как волки, голодные, но свободные, властвуют над вселенной.

Естественно, что тот слушал эту речь очень внимательно, ловя каждое слово, и внезапно понял, что его враг очень приятный, – короче, настоящий интеллигент.

Продолжая развивать эту мысль, Жерминаль, в конце концов, сам поверил в свои слова. Ведь действительно, трабузуки сражались за правое дело, их агрессию можно было понять, к тому же этот тип оказался очень симпатичным. Совсем не то, что этот Персепуаль в подтяжках и с растущими из носа волосами, деревенский Тартарен, защитник богачей и торговцев пушками. Тот, что сидел перед ним, был похож на лиса, на рысь, настоящий мужчина, вызывающий уважение. Конкистадор, спаситель, командующий, пантократор и освободитель. Отличный парень, привлекательный и стройный, не то что Персепуаль, который только что прибавил несколько килограммов.

Худощавые правят миром, подумал Жерминаль, забывая, что ему самому неплохо бы избавиться от лишних пяти или шести килограммов, а жена у него настоящая толстуха, но теперь ведь он вел переговоры, так что не стоило ему ни каяться, ни проводить сеанс психоанализа. Ведь переговоры он вел как государственное лицо, а не как простой человек. Командиру Жерминаль показался очень симпатичным, хотя и немного бледным; короче, выдающаяся личность. Он бы с удовольствием записал его в свою повстанческую армию. Солнце было в зените, и во фляжке уже почти не оставалось коньяка. Персепуаль же продолжал наблюдать за переговорами через оптический прицел винтовки.

Что же происходило в голове этого мавра? Всегда бы неплохо знать, когда ты проводишь переговоры, что происходит в голове того, кто сидит перед тобой, но Жерминалю было тяжело разобраться и в собственной голове, так что он никак не мог представить, что творится в голове собеседника. Он не имел об этом никакого представления. Однако поражение, которое потерпели трабузуки,

мешало им требовать слишком многого. Это было бы как, если бы Петэн со своей армией потребовал у Гитлера полной и окончательной капитуляции! Нельзя требовать невозможного. Но он все же не хотел терять лица. Его войска потерпели моральное поражение, зато уцелели.

Со своей стороны, Жерминаль знал, что поражения заставляют собраться, равно как успехи расслабляют. Он считал, что боги были на их стороне, да и ветер тоже, разносивший отвратительные запахи в направлении осаждавших. Ему также было известно, что победы часто являются случайностями, а не следствием стратегии, и что Наполеон, находясь под луной в различных фазах и под звездами в разных положениях, проиграл Аустерлиц и выиграл Ватерлоо. Возможно, этого бы не случилось, будь нос Клеопатры чуточку длиннее.

Типа, сидевшего перед ним, звали Идрисс, командир Идрисс. Получивший образование в лучших университетах запада, оставшийся убежденным троцкистом, маоистом и шестидесятником, несмотря на различные веяния моды, он с некоторым запозданием стал экзистенциалистом, специализирующимся на подрывных устройствах, убийствах и коллективных изнасилованиях, подрывной деятельности и уличных схватках. «Ну так что, заключаем мир или продолжаем войну?» – бросил ему Жерминаль. Это был хороший вопрос, вполне уместный. «С тобой я согласен заключить мир, но куда же я дену свою ненависть?». Это был вызов. Жерминаль решил воспользоваться случаем, ему в голову пришел гениальный ход: «Обратите вашу ненависть против других. Убивайте жителей других деревень, ведь их достаточно, на земле полно невинных блеющих баранов, людей беззащитных и бездомных, трусов и мазохистов. Многих даже смущает тот факт, что их никогда не мучили. Спасите их от безвестности,

разгоните их скуку, изнасилуйте их жен, разграбьте урожай, подожгите их школы и церкви, но смените место действия и жертв. Земля велика и прекрасна, у вас все впереди, и Бог вам поможет».

Он говорил на языке мудрецов. Компромисс был найден, схватки с одними закончились, и война продолжалась против других. Это был достойный и справедливый мир, тем более, что прекращение вражды с сакаленами развязывало руки трабузукам для нападений на других. Никто не может воевать одновременно со всеми странами мира, командир Идрисс знал об этом, как и о том, что всегда хорошо иметь рядом нейтрально настроенных сторонников, чтобы эти лицемеры производили и продавали оружие обеим сторонам. Такое положение устраивает и нейтральные, и воюющие стороны. Главное, чтобы все желающие получили возможность сражаться, чтобы они свободно могли убивать, удовлетворяя свои инстинкты, проливать как можно больше крови, а затем вернуться к домашним очагам, увенчанные славой. Вот такой подлый торг и состоялся между Жерминалем и Идриссом. Подобно Даладье и Чебмерлену, они могли вернуться домой и знали, что их встретят с почестями, и они прославятся как великие миротворцы, настоящие герои, благодетели человечества.



IV – ВОСПИТАНИЕ ЧУВСТВ

17

После войны, как обычно, произошло общее падение нравов. По улицам бегали грязные дети, все женщины демонстрировали обнаженные ляжки и крупы, быстро оставались открытыми допоздна, а по ночам всюду раздавались женские вопли, сопровождавшиеся кошачьим мяуканьем. Все способные рожать были беременны, и надо было видеть, как они вышагивают по улицам, подобно откормленным гусыням. Захваченная всеобщей эпидемией, Флёр тоже забеременела, и как только Будю это подтвердил, Жерминаль каждый вечер зажигал целый лес свечей перед иконами, моля Бога подарить им прекрасного ребенка.

Эмбрион развивался быстро и с первых же недель начал толкаться ножками и кулачками в животе своей матери, как будто торопился выбраться наружу. Рашида старалась изо всех сил. Каждый день она раскладывала карты, гадала по кофейной гуще и задавала вопросы настенным часам. Все ответы были одинаковы: ребенок, настоящий монстр, появится на свет раньше срока. Он родится под знаком близнецов, будет нарушать все запреты, вести двойную игру, обманывать всех и постоянно совершать ошибки. Во сне она видела, как он голым заходит в церкви, в мэрии, университеты, суды и жандармерии, чтобы все разрушить, надо всем насмеяться, все испачкать. Однако, дабы уберечь Флёр от волнений, Рашида рассказывала ей лишь немного из того, что знала. Она говорила, что ребенок будет красив, умен и прекрасно сложен, на каждой руке у него будет по пять пальцев и столько же на каждой ноге. Жерминаль и Флёр это успокаивало.

К счастью, Будю, вооруженный огромным опытом и классическим образованием, постоянно следил за состоянием Флёр. Он ненавидел Рашиду и Персепуаля, ее – за эзотеризм, а его – за грубость и прагматизм. Жерминаль считал часы и молился Деве Марии. Он окружил свою жену всевозможными заботами и запретил ей предаваться фантазиям. Теперь она пила только воду, не занималась физическим трудом, ходила осторожно, словно под ногами у нее были куриные яйца, и питалась исключительно здоровой пищей. К тому же ей запрещалось курить. Если и на сей раз случится несчастье, спрашивать будет не с кого.

Флёр уже раз двадцать казалось, что у нее начались схватки, и не покидавшая ее Рашида уверяла, что видит, как ребенок высовывает наружу ручку, демонстрируя свое нетерпение, примерно так же, как иногда пассажиры нервничают у дверей еще движущегося поезда. Будю, внимательно наблюдавший за всем, изо всех сил старался удалить Рашиду от кровати будущей роженицы. Задолго до наступления родов, он все подготовил в доме, и слуги каждый час меняли тазы с кипящей водой в ожидании радостного события.

За пятьдесят лет своей практики, Будю ни разу не приходилось наблюдать за таким нервным плодом, который совершенно очевидно торопился как можно скорее вдохнуть воздух свободы. Подобно заблудившемуся спелеологу, он как будто задыхался. Словно находящийся под землей человек, он надеялся вскоре увидеть дневной свет и голубое небо, размять ноги. Рашида в это время без остановки изрекала прорицания, а телефон звонил и звонил! Это были Обиж, Ирена, тетушка Урсула и другие знакомые, жадные до новостей и волновавшиеся за здоровье Флёр.

Однажды утром, в полной тишине, Флёр испустила жуткий вопль, и все пришло в движение. У нее между ног показалась головка ребенка. Помогая себе маленькими

ручками, изо всех сил толкаясь ножками, он выкарабкался из тюрьмы и уже через несколько секунд вылез наружу. Он сам перерезал пуповину и знаком попросил Будю подставить горшок, в который и облегчился. Вокруг ребенка суетились идиотки-служанки, которые считали себя акушерками, они размахивали тряпками, чтобы отогнать привлеченных запахом мух. Раздраженный этими действиями, Одилон знаком попросил отца, чтобы они перестали это делать и вышли из комнаты. Жерминаль отдал приказ, и все, вместе с мухами, вылетели на кухню.

В первые дни малыш еще плохо держался на своих подгибающихся ногах, и его походка была очень неровной, но видно было, что очень скоро он станет совершенно независимым. Тоску Флёр было невозможно описать. Она смутно чувствовала, что плод ее чрева быстро научится обходиться без нее, и что она не сможет забавляться с ним, как играла со своими куклами.

Одилон не выносил, когда с ним говорили как с младенцем и одевали в детскую одежду. Ему пришлось сшить крошечные джинсы, футболочки и рубашечки соответствующего размера. Ему не нужны были никакие игрушки. Погремушки, бубенчики, плюшевые мишки, музыкальные шкатулки и мячики были спрятаны подальше, поскольку он выходил из себя, как только их видел, и все, что было подарено ему на день рождения, пришлось раздать другим детям. Он также ненавидел свою колыбель и спал прямо на полу.

Персепуаль говорил, что сделает его солдатом, в то время как Жерминаль и Будю чесали затылки, задавая себе вопрос, а что же это будет за существо. Он почти сразу отказался от грудного вскармливания, но ему очень нравилось ласкать и целовать груди Флёр, что вызывало у него слабые эрекции, и это казалось всем чрезвычайно неприличным. С этой точки зрения Одилон любил свою

мать больше, чем следовало. Он был не младенцем, а настоящим маленьким мужчиной. И даже похотливым мужчиной. Впрочем, у него уже начали расти волосы на всех интимных местах! Ревнуя к сладострастному ребенку, который осмеливался приближаться к его супруге, Жерминаль плохо переносил эти кровосмесительные контакты, но Флёр, похоже, была равнодушна к ласкам столь юного существа. Все это казалось еще весьма неопределенным, однако старик Будю, привыкший просвечивать как почки, так и сердца, чувствовал, что здесь имеются в наличии уже почти все составляющие античной трагедии.

Персепуаль же, выиграв войну и добившись восстановления мира, чувствовал себя Юпитером, изображал Веллингтона и снисходительно поглядывал на этот мирок сверху вниз. Чувствуя, как из Бонапарта формируется Наполеон (а не хамелеон из Малапарте¹, как говаривал Луи-Фердинанд), он предсказывал этому удальцу карьеру, достойную Александра Великого, в связи с чем постоянно давал всем идиотские советы и заключал идиотские пари. Он предлагал поместить ребенка в клетку с коброй, готовый поспорить, что тот победит змею, и изрекал другие подобные глупости.

В течение всей своей жизни Персепуаль постоянно выдавал пророчества, но ни одно из них никогда не сбылось, и людям, чтобы выиграть или достичь своих целей, достаточно было просто сделать не так, как он советовал, а наоборот. Проведя полвека в бесплодном мельтешении, почувствовав приближение первых признаков старости, он понял, что пора на покой. Пришло время ему возвращаться на Корсику, где ждала его половина,

1 Курицио Малапарте (1898-1957) – итальянский писатель и журналист, в 20-е годы примкнувший к фашизму, но затем кардинально изменивший свои взгляды и вступивший в Итальянскую компартию.

старая гадюка, постоянно готовая защищаться и, несмотря на отсутствие зубов, продолжавшая кусаться. Там тоже намечалась античная драма, вот только герои были какими-то убогими. Никакой летний фестиваль не согласился бы ее представлять, даже в Провансе.

Короче, гармония маячила на горизонте, но приблизиться к ней было непросто. Лошадей в квадриге снова оказалось всего трое, и оставалось ждать появления четвертой. Увы, эти клячи, подобно собакам и людям, всегда были готовы гарцевать и выпендриваться; падкие до новых ощущений и нездоровых вывертов, они чувствовали себя счастливыми только когда их задницы оказывались выше голов, а головы – запрокинутыми, они постоянно стремились окунуть свои белые причиндалы в колышущиеся волны. Волны бескрайнего, вечно обновляющегося моря.

18

Маленький Одилон играл с муравьями, пауками и мухами, которых он баловал, кормил сахаром. По вечерам он целовал их и нежно напевал им колыбельные песни. Забавно было наблюдать, как этот совершенно голый человечек развлекается, собирая разные мелочи, камешки, перья, гвозди и влажно поблескивавшее козье и кроличье дерьмо, которое он красиво выкладывал вокруг дома, предварительно облизав.

Ему нравилось спать в будке вместе с собаками, двумя плохо выдрессированными злобными псами, Слободаном и Саддамом, от них ужасно воняло, но они прекрасно находили общий язык.

Он разговаривал с растениями и цветами, которые поливал по мере необходимости, всегда готовый им услужить, принести подарки, дерьмо и навоз, которые складывал к их ногам. Нужно было видеть, как он старался закрыть их тенью в самые жаркие часы, когда безжалостно

палило солнце. Он сооружал навесы для моркови, кервеля и эстрагона, расставлял зонтики для защиты томатов и клубники, и, кроме того, пытался освежить их при помощи вееров и вентиляторов.

Благодаря стараниям Одилона, Флёр и Жерминаль могли похвастаться, что у них лучшие бегонии во всем Бимбуту – возможно, прекраснейшей стране на всем континенте. Их петунии вызывали всеобщую зависть, камелии – восхищение.

Их свиньи также считались одними из самых здоровых, откормленных и умных в области. При помощи нужных слов и простых жестов, ласк и поцелуев, Одилон пробудил в них разум, обратил их к жизни и счастью, а уж о том, чтобы их съесть, нельзя было и заикаться – ребенок слишком их любил.

Ему хотелось, чтобы так же поступали и с растениями, но Жерминаль объяснил ему, что нужно же чем-то питаться. Одилон добился лишь того, что они ели исключительно упавшие с деревьев плоды, которые можно было считать мертвыми, вялые сливы и гнилые яблоки. Что касается моркови и картошки, их выкапывали из земли, когда они достигали размера арбузов. А ели, когда они становились уже несъедобными, почти достигшими естественной смерти.

Флёр, правда, было разрешено варить яйца, которые ребенок поглощал тем более охотно, что каждое съеденное яйцо спасало росток жизни, позволяя ему избежать несчастья родиться и жить. Одилон любил полакомиться смешанными с сухим навозом яйцами, которые превосходно готовила его мать, и омлетами с гнездами жаворонков, которые он мог поглощать, никого не убивая.

Одилон заставлял танцевать своих муравьев и пауков под музыку Люлли, Рамо и Баха. Все старательно тренировались, но многим не удавалось добиться успеха, несмотря на выбранное им простое хореографическое

решение. Он не собирался заставлять их исполнять Жизель или Лебединое озеро. Только па де бурре, квадрилы и простенькие менуэты, медленные вальсы и ригодоны.

Он также научил свиней сложнейшим упражнениям, переворотам, различным аллюрам, бегу рысью и галопом, а самых старательных – делать курбеты, вращаться и преодолевать препятствия. Его свиньи были самыми образованными, воспитанными и вежливыми во всем мире, не говоря уж о созданном им хоре кур и уток, которые исполняли Верди, Берлиоза и Мессиаана.

Ни у одного императора или короля никогда не было таких старательных, забавных и ласковых слуг, составлявших прекрасную компанию хозяину. Медичи были повержены, Валуа и Бурбоны высмеяны, Стюарты, Виндзоры, Виттельсбахи и Помпадур заткнуты за пояс, Версаль, Вена и Потсдам остались далеко позади Бимбуту. И только Одилону они были обязаны этими доказательствами превосходства существ, лишенных души, пресмыкающихся, идиотов, калек и уродов.

Ни один рассудительный читатель, как бы невнимательно он ни читал эту книгу, не сможет отрицать, что жизнь у Флёр и Жерминаля была почти райская. Это был мир наоборот, мир, который был лучше войны, жизнь здесь победила смерть, небо спустилось на землю и всюду царил добродетель.

19

Хотя они и закрывали глаза, затыкали носы и уши, читали только Сюлли Прюдома¹, Анри Бордо² и Марселин

1 Сюлли Прюдом (1839-1907) – французский поэт, член Французской академии, лауреат Нобелевской премии (1901).

2 Анри Бордо (1870-1954) – французский писатель и военный историк, член Французской академии.

Деборд-Вальмор¹, хотя они и жили за тысячи километров от всего мира, до них все же доносились отзвуки шума и ярости, и это вызывало у Одилона сильнейшую рвоту, за которой следовали длительные периоды афазии, когда он отказывался от пищи, не хотел ни с кем говорить, даже не покидал свою комнату. Он выходил из себя из-за малейшего пустяка, какого-нибудь незначительного убийства, нападения на больницу, на школу, на римскую церковь, коллективного самоубийства, большой утечки газа, не говоря уж о землетрясениях, наводнениях, различных взрывах, периодах голода и новых болезнях. Стоило где-нибудь начаться небольшой войне, случиться какой-нибудь бойне, и вот он уже впадал в ужасное состояние!

Ребенок все слышал, догадывался о мировых потрясениях, небольших исторических коллизиях, об ущербе, нанесенному фауне и флоре, речной и морской воде, воздуху, общественному здоровью и правам человека. Он как будто медленно умирал, и всякий раз, когда слышал отдаленный выстрел из пушки, когда кто-нибудь прощался с жизнью – будь то птица, камнем упавшая на землю или же ребенок, погибший от эпидемии, недоедания, либо под ударами маньяка или наемника – он все глубже погружался в депрессию.

Несмотря ни на что, все остальные люди прекрасно развлекались, устраивали сногшибательные праздники, впадая в буйство, заразительно хохотали во время попоек, на аристократических вечеринках, пожирая в огромном количестве мешуи и кускус. Они организовывали фарандолы и общественные балы в двух шагах от гор трупов, они плавали голыми в озерах вместе с дохлой рыбой, они

1 Марселлин Деборд-Вальмор (1786-1859) – французская элегическая поэтесса, примыкавшая к романтизму.

дрались во время цветочных сражений (бульжниками, когда под руку не попадалось цветов), они также кидались шариками желчи, подобно тому, как обычно играют в снежки, и все их перепалки вызывали настоящее омерзение.

Одилона, наблюдавшего все это, выворачивало наизнанку, и он постепенно хирел.

Его тоска не мешала людям развлекаться глупо, самозабвенно, приходиться в экстаз и возбуждаться по любому пустячному поводу, если только это не происходило по команде и в заранее назначенный день. Им говорили: смейтесь, и они смеялись, они корчились от смеха, до потери пульса и дыхания, с таким же увлечением, как солдаты, которым приказывают идти шагом, встать в строй, стрелять по толпе. И хотя смех убивает не так часто, как войны, некоторым даже удавалось задохнуться. После они уже не только не смеялись, но и не дышали. Всего лишь через секунду, совершенно охладев и перейдя в иной мир, они превращались в обычных покойников, которым оставалось рассчитывать лишь на жизнь вечную и на воскрешение мертвых.

20

Компания по переработке и восстановлению пережила кризис. Под пагубным воздействием науки, жители страны, вместо того, чтобы вести традиционный образ жизни, позволяли техническому прогрессу, подобно пению сирен, очаровать себя. Постоянно видя над своими головами пролетающие самолеты, они, в конце концов, поняли, что это были не птицы, они сразу же начали приобретать различные игрушки и теперь частенько даже на деревья карабкались с мобильными телефонами. Вместо того, чтобы охотиться на дичь с луком и стрелами, они стреляли из винтовок, и даже рыбу ловили, используя

гранаты, если, конечно, не питались исключительно консервами и замороженными продуктами.

Стремясь подражать развитым индустриальным странам, они сформировали профсоюзы, а для уплаты новых налогов стали требовать увеличения зарплаты и социальных гарантий. Открылся еще один круг ада, и все начали бесконечный бег, который грозил продолжаться вечно. На другом конце планеты, желтые, недовольные тем, что их выгнали с рисовых плантаций и заставили собирать компьютеры, тоже занялись починкой и переработкой металлических предметов. Они наводнили ими мировой рынок, вызвав падение курса валют, и тогда Жерминаль был вынужден увеличить зарплату, в то время как зарплаты рабочих в Сингапуре, Шанхае, Гонконге оставались ниже прожиточного минимума.

Ему пришлось уволить часть персонала. Все бросились в комиссии по безработице, что вызвало увеличение социальных затрат, а это, в свою очередь, спровоцировало новые увольнения. Ситуация становилась опасной. Жерминаль, как мог, пытался исправить бедственное положение, в то время как Флёр тратила силы на благотворительность, раздавала по каплям молоко, суп, организовывала ночлежки, а Одилон продолжать удивлять всех, кто к нему приближался. В школе его посадили вместе со старшими, но он превосходил своими знаниями всех, включая и учителей. Он знал наизусть таблицу логарифмов, говорил по-древнегречески, хотя никогда не изучал этого языка, прекрасно разбирался в ядерной физике и безукоризненно исполнял все самые трудные партитуры Листа.

Соланж Бриду, директриса школы, давно превратилась во всеобщее посмешище. Одилон задавал ей вопросы, ответить на которые она была не в состоянии, и на которые, немного ее помучив, он отвечал сам. Остальные

ученики считали ее полной дурой, и Одилон стал для всех символом свободы и живым доказательством того, что учителя никому не нужны. Отказавшись от учителей, оставалось сделать всего один шаг и отказаться от хозяев; чуть позже именно так все и решили поступить, тем более, что никому не нужным хозяевам приходилось выплачивать огромные зарплаты. Если бы рабочие могли разделить между собой зарплату хозяина и прибыль предприятия, они бы сразу разбогатели!

Все, кто в прежние времена приходил и ел с руки у Жерминаля, теперь были готовы сожрать эту руку, и его самого в придачу. Все дрессировщики рискуют оказаться в подобном положении, и это вполне справедливо, как было бы справедливо и правильно судить судей, и отправлять в рукопашный бой генералов, поливать поливальщиков, топить адмиралов, стрелять по охотникам, кастрировать жеребцов-производителей и кусать собак.

Ведя обычной образ жизни, ничуть не отличаясь от прочих простых людей, Жерминаль только создавал себе проблемы. Вскоре его начали обвинять в скупости, скрытности, ложной скромности и лицемерии. Все бы предпочли, чтобы он ездил на ролс-ройсе, эта марка машины безупречна со всех точек зрения, она вызывает всеобщее уважение и зависть, подтверждает право ее владельца занимать руководящие должности, а также вершить правосудие. Патрон, который ездит, как все, на велосипеде или на автобусе, порой играет на аккордеоне, недостоин того, чтобы выполнять обязанности директора. Это обычный человек, который не имеет права ни руководить, ни получать большую зарплату. А если он и руководит, то исключительно по ошибке. От него следует как можно скорее избавиться, тем более, если у него нет ролс-ройса. Это простой служащий, но почему-то получающий директорскую зарплату.

Простота Жерминаля и Флёр шокировала всех, не говоря уж о том, что они всегда здоровались с рабочими за руку и лично принимали их на работу. Также раздражало их стремление заниматься благотворительностью, как будто они всех считали нищими. Получалось, что их большая зарплата была исключительно следствием социальной несправедливости, к тому же деньги им были не особенно нужны, потому что они и одевались-то как настоящие оборванцы.

Жерминаля на дух никто не переносил, его считали жалким комедиантом, который был не в состоянии хотя бы изобразить властного и уверенного в себе патрона. Заводские рабочие предпочитали ему Персепуаля, очень верно и талантливо игравшего роль тюремного надзирателя. Тот, по крайней мере, был на своем месте и держал марку. Он занимал должное ему положение. А вот доброта Жерминаля и Флёр отдавала дурновкусием. Они постоянно и навязчиво все делали бесплатно, и это свидетельствовало об их полном незнании человеческой природы.

Удары, постоянно сыпавшиеся на Жерминаля, придавали смысл его жизни. В общем-то, достаточно посмотреть на отчаявшихся личностей, что стоят на краю крыш, угрожая броситься вниз, – попробуйте удержаться, не вызывать ни спасателей, ни их матерей, ни психологов, а просто начните стрелять по этим мнимым самоубийцам и увидите, как быстро они побегут прятаться. Они подобны тем, кто получает удовольствие от самобичевания, но не выносит шлепков, они вроде бы хотят смерти, но не собираются потворствовать тем, кто покушается на их жизнь.

Одилон, чувствуя, что надвигается гроза, давал отцу дельные советы. Нужно устранить главарей, объявить локаут, закрыть ясли, диспансер, перестать раздавать молоко и супы. По его мнению, лучше всего было стрелять по толпе, или же остановить завод – и пусть все они

подымают. Персепуаль, которого поддерживали некоторые недалекие личности, присоединился к мнению ребенка, и Жерминалю пришлось констатировать, что его сын, которому еще не исполнилось шести лет, лучше него разбирался в психологии и гораздо лучше бы смог управлять людьми и руководить предприятием. Одилон вызывал у него беспокойство, как солдат, который лучше генерала разбирается в стратегии. По городу ходили слухи, что Жерминаль совершенно не способен выполнять свои функции. Впрочем, Одилон тоже не мог выполнять свои, поскольку никак не соглашался ограничиться ролью маленького мальчика.

Ученик, превосходящий учителя, нарушает равновесие в обществе, такое положение содержит в себе зачатки революции. На самом деле, в Бимбуту вся общественная жизнь пришла в упадок, в ней чувствовались брожение и фальшь, как будто она была поражена гангреной. Предприятие по переработке, школа Соланж Бриду, Персепуаль, Флёр, Жерминаль, все они как будто находились на краю могилы, при последнем издыхании. Все плоды без исключения оказались изъедены червями, и тупой народ всеми силами души надеялся на появление тирана, который раз и навсегда избавит их от демократии.

Дойдя до этого места моего повествования, читатель, надеюсь, понял, что в Бимбуту, как и во всем мире, ощущались дурные веяния, и добрых людей там почти не осталось, а вот злых становилось все больше. В такое время никак не могли появиться на свет как новые поэты, так и романтически настроенные любители вишен, зеленых яблок и диких слив, всем им нужно было бы родиться чуть раньше, но никому никогда еще не удавалось выбрать для себя эпоху, в которой придется жить, и Одилон это понимал.

Это несравненное божественное дитя, оказавшееся настоящим пророком, с первого взгляда проникавшим в суть вещей, мучили тяжелые предчувствия. В отсутствии Персепуалы, определявшего его высказывания не иначе как бред, он изрекал пророчества ограниченному контингенту слушателей, состоящему из его родителей, Будю, Рашиды и белой любовницы, которые самозабвенно слушали удивительные слова: «Вскоре все будут жить под землей, дабы защититься от жары, которая неминуемо наступит, когда растают ледники. Там людям будет хорошо, и они даже начнут удивляться, что могли жить так долго при ярком свете и под палящим солнцем. Дурная привычка вдыхать чистый воздух становится манией, но от него чернеет кожа, и в результате человек начинает зависеть от смены времен года и болеет разными болезнями. Ему на голову льется дождь, падают снег и град, холод постоянно сменяется жарой, а день – ночью, периодически поднимаются ветры, ураганы. Под землей же, благодаря фильтрованному воздуху и искусственному освещению, все эти неудобства более не будут мешать людям. Не будет больше ни утра, ни вечера, и нам не будут досаждать ни пение жаворонков, ни дневной свет, ни естественные запахи, от которых порой может стошнить. Вся пища будет химической, а пищеварение легким, люди будут жить по сто лет, думая, что прошло всего лишь двадцать, не имея других врагов, кроме самих себя, счастливые, подобно кротам и червям. На поверхности земли останутся одни только исследователи и авантюристы, историки, мазохисты и реакционеры. Ведь в наши дни, как и во все времена и во всех обществах, всегда находятся как оригиналы, ностальгирующие по прошлому, отрицающие прогресс, так и люди, желающие повернуть вспять колесо истории. Во всяком случае, когда людей и народы будут объединять лишь общие воспоминания, для них настанет пора заснуть навсегда». Эти

высказывания, содержащие в себе долю здравого смысла, выслушивались почти с молитвенным благоговением, но все же на лицах некоторых читалось удивление, и все боялись, что эти адские пророчества сбудутся.

Он понимал, что Город ждут опасные перемены: «Вскоре общество начнет преследовать граждан, которые едят овощи из своих огородов и яйца из-под своих кур, тех, кто сами воспитывают своих детей, играют на пианино, пишут от руки, ходят босиком, топят печку дровами. Их определят в «психбольницы», где все будет оборудовано с максимальным комфортом, чтобы они были счастливы, они смогут всегда выбрать для себя холодный или успокаивающий душ, однако посещения родственников и труд будут под запретом. Будет сделано все, чтобы пациенты не попадали под влияние тех, кто их окружает. Центральный комитет больницы позаботится обо всем, составит на каждого досье и будет тщательно следить за воспитанием. Все будут жить как одна счастливая семья».

Одилон разоблачал делающие людей импотентами осторожность и предусмотрительность, которым, вместо храбрости и отваги, всех обучают со школьной скамьи. Все это, вкуче с церковью, по его мнению, должно было привести христиан к историческому краху. Он предсказывал эпидемии, подобные тем, что были в Средние века и также то, что скоро люди в основной своей массе разучатся читать, вернуться Габсбурги, золотой эталон, меновая торговля, колониализм и Романовы. Он уверял, что люди начнут стареть гораздо раньше, однако прогресс медицины позволит им казаться молодыми даже в весьма преклонном возрасте, что баррель питьевой воды будет скоро стоить дороже нефти, что преподавание французского языка во Франции станет факультативным, и в ближайшем будущем бактерии приобретут иммунитет от лекарств и их можно будет увидеть невооруженным глазом:

«Все научные данные придется пересматривать, и уже не будут знать, как лечить самые обычные болезни, такие как икота, кашель, грипп и чесотка. Как только у вас выскочит обычный прыщ, тут же на вас набросятся с разных сторон стаи разных тварей, которые очень быстро переправят вас в иной мир, поскольку естественная защита вашего организма уже давно была ослаблена из-за постоянного пользования лифтами и центральным отоплением, привычки принимать теплую ванну, есть стерильные продукты и решать проблемы со здоровьем при помощи аптек. Против этих напастей будут бороться и кандидаты на Нобеля, и специально созданные международные программы, и ассоциации защиты, но никто не подумает о таких простых вещах, как купание детей в холодной воде, о том, чтобы одевать их тепло лишь в холода, и о том, чтобы запретить кондиционеры, механические лестницы, кашне и аптеки».

Одилон был сторонником возврата к истокам, естественному лечению при помощи трав и настоек и почитанию мертвых. Будучи мальтузианцем в самом дурном смысле этого слова, он также призывал к тому, что слишком слабым нужно предоставлять собственной судьбе, чем возмущал добряка Будю, который не стремился идти в ногу со временем и оставался верным клятве Гиппократа.



V – БЕСЫ

21

Стоит только подумать, до чего мы все дошли и каких высот достигла в наши дни наука, как сразу можно прийти к выводу, что родиться сейчас гораздо легче, чем выжить, и гораздо сложнее снова открыть то, что уже когда-то было открыто, нежели изобрести что-то новое. Достаточно запустить компьютеры сами по себе, чтобы увидеть, как тут и там сразу же появляются новые изобретения, тогда как в давние времена, когда люди пользовались исключительно счётами, нужно было вставать пораньше, чтобы продвинуться вперед хотя бы на миллиметр, на малую толику! Зато в современном мире совсем не просто снова открыть то, что уже давно забыто, поскольку старые методы уже никем не используются.

Одилону же легко удавалось создавать новые изобретения, опираясь на традиционные методики. Таким образом, он первым заложил основы беспроводного электричества и прямоугольного метра, не забывая о лошадиной тяге, алфавитном порядке, метрической системе, устном счете, согласовании времен, художественной живописи и пунктуации.

Поскольку Компания находилась на грани краха, по совету своего сына Жерминаль начал производить особые телефоны, что вскоре вызвало фурор. Эти аппараты, связанные проводами с сетью, можно было переносить только на пару метров. Вскоре они стали необходимы буквально всем.

Чтобы оставаться рядом с телефонами, пользователи умили свою тягу к суете, которая заставляла их бегать с места на место безо всякой к тому нужды, зажав в руке

телефон, чтобы говорить с людьми, которым им совершенно нечего было сказать и чтобы позвонить тем, которые им также ничего сказать не могли. Абоненты в ожидании телефонных звонков уже охотнее оставались дома, занимаясь своими детьми, что вызвало резкое падение уровня преступности. У женщин появилось время готовить полезную пищу, и семьи перестали питаться сэндвичами, консервами и замороженными продуктами.

Компания, возглавляемая Жерминалем, снова начала нормально функционировать, он утроил количество производимой продукции за несколько недель, потом оно увеличилось в шесть раз, а потом он уж и счет потерял. Во всяком случае, нули прибавлялись к нулям, и он нанимал все новых рабочих. Он решил наконец-то построить железную дорогу и также международный аэропорт, общественные бани, оперу и проложить велосипедные дорожки.

Будю умилялся тому, как развивается ребенок, и, к несчастью, сделал на эту тему несколько сообщений в Медицинской академии; последствия были плачевны, поскольку информация дошла до президента, инициировавшего судебное дело о плохом обращении с ребенком и также об отсутствии регламентации работы шахтеров.

Была назначена тройная психиатрическая экспертиза, и Жерминаль был немало удивлен тем, что в Бимбуту внезапно прибыли три эксперта, в задачу которых входило осмотреть его самого, а также его жену и сына. Эту миссию поручили трем знаменитостям, каждая из которых на голову превосходила в компетентности своих коллег, но все они, похоже, страдали различными формами душевных расстройств.

Экспертный совет возглавлял профессор Шназе, ученик Лакана и Кубичека, автор двух эссе о шпанской мушке и сообщающихся сосудах, каковые произведения были

увенчаны наградами Академии Моральных и Политических наук. Второй эксперт, Мария-Магдалена Строганова, истеричка и тоже последовательница Лакана, была экспертом кассационного суда. Третьим экспертом был доктор Глюдж, подозрительный мулат, у которого воняло изо рта и от ног. Находящийся под сильным влиянием Карла-Густава Юнга, несравненный специалист по болезням Закса и фон Реклингхаузена, он был экспертом при высшем совете магистратуры.

Их самолет потерпел аварию сперва в Агадире, затем в Нуакчоте, эксперты прибыли в Бимбуту полностью вымотанные и в ужасном настроении. В первый же вечер Флёр радостно пригласила их на ужин вместе с Будю и приготовила для них сама свое коронное блюдо – рагу из дикой моркови со сладким картофелем, которое Мария-Магдалина так и не сумела переварить и выдала обратно между шестью и семью часами утра. Когда она, бледная и разбитая, явилась к завтраку, настроение у нее было просто ужасное.

После того как Будю им все объяснил, эксперты приступили к выполнению своей миссии, начав осмотр Одилона, который воспользовался этим случаем, чтобы изложить им свой взгляд на современную медицину в целом и на психиатрию в частности. Он объяснил им, что только что прочитал Лакана и что хотел бы поговорить с ними на эту тему. Все трое слушали его, вытаращив глаза и разинув рты, подобно выброшенным на сушу рыбам.

Шназе первым прервал молчание и сухо сказал Одилону, что не собирается выслушивать ничьих уроков. По его мнению, общество состояло из богатых и бедных, добрых и злых, белых и черных, безумцев и нормальных людей. И именно среди нормальных людей он чувствовал себя естественно, учитывая, что остальное человечество более или менее нуждается в помощи психиатров.

Тут эксперты приступили к полному медицинскому осмотру несчастного ребенка, особенно задержавшись на изучении его фронтально-дорсально-латерального спинного мозга, его нервных окончаний, не забыв также проверить грудную, лобную и височную кости. Каждое свое высказывание они, подобно врачам из комедии Мольера, сопровождали восклицаниями ох! ох! ох! и ах! ах! ах! – как будто бы обнаружили серьезнейшую аномалию. Им показалось, что они нашли острый миелит, образовавшийся то ли из-за карбункула на солнечном сплетении, то ли из-за метромбоза пещеристого тела, но они выдвигали лишь гипотезы, поскольку не были специалистами в этих вопросах. Заключив, что ребенок – социопат и страдает различными формами извращений, а также болен шизофренической эмболией, они тут же решили его госпитализировать.

Одилон всеми силами противился этому, опровергнув общее заключение трех экспертов несравненным научным выступлением. Сочтя это выступление оскорбительным, экспертный совет вышел из комнаты и отправился в жандармерию, чтобы попросить командира содействовать задержанию несовершеннолетнего. Поскольку бимбутийская жандармерия не имела приказа принимать иностранных экспертов, Одилон был оставлен на свободе, тем более, что местные жители его очень уважали. Если бы эксперты захотели вызвать народное восстание, именно так им бы и следовало поступить.

Одилон уже давно проводил все ночи на баобабе. Поскольку это было огромное дерево, там он был в недостижимости и именно отсюда он в конце вечера и общался с тремя экспертами, которые решили отложить на потом выполнение своего задания по осмотру Флёр и Жерминаля.

На следующий день эксперты решили изгнать из Жерминаля свинью, которая, как они были уверены, жила в

нем, как и во всех прочих смертных. Они засыпали его самыми унижительными и отвратительными вопросами о его личной жизни, и стоило посмотреть, с каким торжеством эти трое переглядывались, с наслаждением спрашивая: «как давно?», «в каком возрасте вы начали?», «сколько раз в день?», «один?», – что пробудило в нем дремавшие до сей поры инстинкты убийцы.

И он взорвался. Он попытался вцепиться в волосы Марии-Магдалине и ударить ее ногой в живот, потом обозвал ее старой шлюхой, а Шназе и Глюджа – пидорами и кастратами. Он обвинил их во всех пороках и грехах и в том, что они явились в Бимбуту, чтобы украсть его ребенка, а затем продать его тому, кто больше заплатит, секретным службам, генетическим лабораториям, неважно кому – Папе, Дракуле, Фаусту, доктору Мабузе, Путину, Триглазке, Носферату, летучему голландцу.

Эта последняя деталь позволила доктору Глюджу, который, правда, видел «Фауста» и «Ловцов жемчуга» в Опере Мобеж, но и предположить не мог, что голландцы умеют летать, и двум другим экспертам, совершенным невеждам, сделать заключение, что душевное здоровье Жерминаля не лучше, чем у них, о чем читатели этой повести уже давно догадались.

22

По городу поползли слухи, что свобода Одилона под угрозой, улицы тут же заполнились демонстрантами, и вот уже пришлось защищать этих трех маньяков, ибо толпа собралась их линчевать. Тогда-то у Марии-Магдалины, охваченной волнением, случился первый припадок эпилепсии. Шназе, чье лицо передергивал нервный тик, попросил Будю вмешаться, в то время как третий эксперт, охваченный дрожью, нервно плакал. Будю поставил

Глюджу диагноз синдрома Куссмауля Майера, который срочно нужно было лечить.

Два эксперта уже оказались неспособны выполнять свою миссию, экспертиза затягивалась, а волнения в городе усилилось до такой степени, что нужно было думать о том, как их успокоить, но силы полиции здесь ничем помочь не могли, ибо все люди испытывали к восставшим симпатию.

Тем временем Одилон вместе с некоторыми сторонниками ушел в партизаны, а Флёр и Жерминаль, опасаясь нового убийства невинных, решили бежать с ребенком в Египет.

Мария-Магдалина вызывала беспокойство у врачей, – и у Будю, и у Шназе. Ее душевное состояние ухудшилось, она была помещена в психиатрический центр Бимбуту, далеко не самое веселое место в городе. В течение дня, до вечера, пока их не помещали в палату с обитыми мягким стенами, сумасшедшие находились на свободе, и в общем дворе предавались веселью, – некоторые музицировали, другие танцевали и пели как дети. В любое время дня можно видеть было, как они совокупаются по двое или же группами. Директор заведения считал, что это прекрасная терапия, и в результате многие больные, даже исцелившись, отказывались покидать заведение. После того, как их затаскивали туда силой, приходилось снова применить силу, чтобы заставить уйти.

Мария-Магдалина быстро пришла в себя, – правда, не без помощи силача, ранее выступавшего на ярмарках, чемпиона по карате, с неустойчивой психикой, но надежного недюжинной физической силой, который раз двадцать чуть не задушил ее в своих объятиях. Благодаря ему, эта старая карга открыла для себя плотские радости. Наделенный необыкновенным воображением, ее партнер каждый день изобретал новые варианты и, поскольку

она была довольно гибкой, они вместе выработали основы новой Камасутры. Каждый раз, когда Шназе приходил и предлагал ей покинуть больницу, она делала вид, что не узнает его, и падала наземь, изображая нервные припадки, пуская слюну и исторгая вопли. Она, по правде говоря, никогда не была так счастлива, и не совсем понятно, почему она согласилась покинуть этот Эдем.

Жерминаль и Флёр воссоединились с Одилоном. Рискую разочаровать предков, ребенок отказался уезжать в Египет. Он организовал сопротивление, в то время как предатель Персепуаль решил стать коллаборационистом. Шназе, оказавшись в положении, превосходившем его понимание, посылал президенту телеграмму за телеграммой, и тот, рискуя вызывать дипломатические осложнения, уже собирался послать туда группу парашютистов.

Короче, события развивались стремительно. Страна еще не погрузилась в пучину крови и огня, но уже была на пороге гражданской войны и иностранной интервенции, участие в которой предвкушал Персепуаль. Жерминаль отрастил себе бороду, чтобы походить на плотника и активно готовился к бегству в Египет. Флёр, по тем же причинам, одевалась лишь в голубое и белое. Паря надо всеми этими перипетиями, Мария-Магдалина наслаждалась жизнью, несмотря на собиравшиеся на горизонте тучи.

У Шназе в голове была лишь одна мысль и единственное желание – поймать Одилона живым или мертвым. Если бы он достался ему мертвым, Шназе послал бы его тело в Институт криминальной медицины, чтобы при помощи скальпелей, пил и ножовок псевдо-врачи, не имеющие медицинского призвания, совершили аутопсию. Роль этих мясников состоит в том, чтобы расчленять трупы, подобно тому, как разделявают мясную тушу, как потрошат кур на заводах перед тем, как их заморозить. Они бы стали искать в его мозгу и позвоночнике причины его

непохожести на остальных, потом поместили бы его маленький мозг в склянку, заполненную спиртом и формалином, и выставили бы на медицинском факультете, вместе с другими стоящими на полках жуткими штуками, банками, в которых содержались мозги различных преступников, опасных сумасшедших, гениев и полных идиотов, поставленных рядом, подобно банкам с корнионами, торжественно ожидающим светопредставления в заброшенной лавке.

Если бы удалось схватить его живым, лечение было бы жестоким. Множественные сеансы электрошока, взятие проб спинного и головного мозга, исследование без наркоза, соскобы, лоботомия, тесты, вивисекция, манипуляции и различные опыты, достойные доктора Менгеле. Затем, когда марионетка уже не могла двигаться, ее заширили до конца дней вместе с неудавшимися клонами и другими жертвами науки и различными уродами, родившимися с двумя головами, тремя руками, часто покрытыми волосами, или же с лапами, как у животных, монстрами, которых ученые не решаются убить, потому что не до конца уверены, что это не человеческие существа.

В любое мгновение и в любом месте самые милые шутки могут обернуться трагедией. Небольшое облачко вдалеке, три долгожданные капли, а потом вдруг все небо покрывается тучами и начинается жуткий потоп. Достаточно нескольких секунд, чтобы слезы сменили смех, и еще меньше, чтобы ты оказался за стеклом. Едва вы родились, и вот уже лежите, прижавшись щекой или спиной к стенке, а может и умерли. Поэтому скажите своим сыновьям, пусть поторопятся, пока погода не испортилась, а их лучшие друзья, с которыми они пели в хоре, юные скауты, не всадили им в спину свои швейцарские ножи. А вы, младенцы, ребяташки, ягнята, цыплята, сосунки, пока вас

еще не съели, бегите от своих нянек, бегите через окошки, по крышам, по лестницам и подвалам, бегите из детских комнат, от родителей, из школ и никогда не возвращайтесь обратно, бегите прямо вперед, как можно дальше. Думайте лишь о том, как спасти свою шкуру. Избегайте клятв, нравучений и обещаний, и ваших братьев, так же как и врагов. Тогда, только тогда, быть может, у вас появится шанс выжить. Но стоит ли стремиться к достижению подобной жалкой цели?.. А если ты обречен на незавидную участь, и твое здоровье оставляет желать лучшего?

23

Лесные звери стали для Одилона друзьями, он все время проводил вместе с ними. Ребенок изучил их язык, что позволяло птицам сообщать ему о передвижении жандармов. В случае нападения он был бы тотчас информирован и мог бы легко скрыться, ибо обезьяны научили его по лианам перескакивать с дерева на дерево. Все вокруг были постоянно настороже и готовы защищать его. Животные, кроме собак, которые их предали, и змей, которых помимо их воли бросали на нападавших, не участвовали в войне между трабузуками и сакаленами, но здесь они были готовы сами ринуться в бой. И сделали бы это с огромным удовольствием, ибо знали, что Персепуаль любил поохотиться.

Флёр, все время стремившаяся к новому, желающая поддерживать себя в форме и держать нос по ветру, тренировалась, карабкаясь по деревьям и перепрыгивая с одного на другое. Под ее весом ветви гнулись, а некоторые даже трескали. Она несколько раз валилась на землю, и животные, наблюдавших за нею, хихикали, но все они были тронуты ее упорством и давали ей советы через Одилона, служившего переводчиком.

В сопровождении своего друга-бородавочника Будю только по ночам навещал беглецов. Он рассказывал им последние новости об экспертах, о Марии-Магдалине, бывавшей в психушке, и о докторе Глюдже, который, вернувшись в Европу, начал готовить серию конференций по делу Одилона. Что касается Шназе, репутация которого уже была известна всей стране, он решил остаться на месте. Он лечил не только Марию-Магдалину, но также Персепуаля и заочно президента, который все больше в этом нуждался. Персепуаль из-за серьезных заболеваний – мегаломании и паранойи – нуждался в ежедневном лечении бромом и нейролептиками, а Шназе лечил президента посредством телефона и телевизора от дебильности и слабоумия. Поскольку это были неизлечимые заболевания, он пытался просто замедлить их развитие, чтобы его важный пациент мог завершить свой президентский срок.

Ближайшая охрана Одилона состояла из самок макак. Отобранные за храбрость, это были самые отважные бойцы, к тому же плотоядные. Овладевшие искусством восточных единоборств, почти ничего не евшие, они могли часами идти без отдыха, видели ночью так же хорошо, как и днем, слышали врага на расстоянии и чувствовали издали его запах. Все были готовы отдать жизнь за Одилона, все мечтали убить Персепуаля и бросить его останки прожорливым псам. Никто бы до них даже не дотронулся из боязни заразиться, но все вместе с радостью бы полюбовались, как целая свора будет рвать его на части. Каждую ночь, находясь в постоянном контакте с совами и филинами, четыре макаки стояли на страже, охраняя своего предводителя. Слоны тоже были на посту, формируя нечто вроде бронированной колонны, в то время как птицы вызвались выполнять миссию военной разведки.

Одилон ничего не боялся, но надеялся, что его родители уедут. Их путешествие в Египет уже несколько раз откладывалось, и он был свидетелем того, как они ускользают от принятия решения. Он никогда не чувствовал особой привязанности к своим предкам, которых упрекал в том, что они произвели его на свет. Он считал, что дорого платил за удовольствие, которое они получили при его зачатии. В этом и вправду было что-то отвратительное, в высшей степени несправедливое.

Чем скорее бы уехали его родители, тем лучше бы он себя чувствовал. Его новая семья состояла из макак, слонов, дроф, филинов и самых разных животных. Он был для них приемным сыном и героем. Они возлагали на него все свои надежды и просили его пустить в ход свой ум, чтобы помочь освободить своих братьев из цирков, с боен, со всех арен и зоологических садов и чтобы люди поняли, наконец, что у них тоже есть душа.

Не только макаки и слоны защищали Одилона. Мухи со своими глядящими в разные стороны глазами всюду собирали информацию. Благодаря маленькому размеру, они втирались повсюду, и их сотрудничество было особенно ценным. Все помогали, чем могли: змеи давали свой яд, шершни свои жала, остальные – клювы и когти. Зато подводная живность была не столь активна и никакой особой пользы не приносила. Дикае утки, похожие на корабли дальнего плавания, патрулировали реки, а рыбы исполняли роль субмарин, но война не шла ни на море, ни под водой, и, несмотря на их желание быть полезными, утки и рыбы не представляли никакого стратегического интереса.

Что касается сил правопорядка, все они тоже были готовы к атаке, и Персепуаль ждал лишь сигнала от президента. Он не собирался бросать слов на ветер, и его высказывания были оформлены в свойственном ему стиле,

жестком и недвусмысленном: «Чего же этот придурок ждет, почему не начинает? Чтобы у кур выросли зубы? Какое горе, когда тобой управляют подобные идиоты!» Правда, без приказа ничего делать было нельзя. Местные власти ни в чем не могли упрекнуть Одилона, который не совершал никаких проступков, и судья, который получил жалобу из метрополии, был тут же разоружен. Детский судья в Бимбуту был готов оказать властям услугу, но боялся публичной мести. Его независимость и смелость тоже не были безграничны. Это был всего лишь судья!

Обосновавшись в партизанском лагере, Одилон прятался на дереве. Он спускался днем, чтобы пофилософствовать с некоторыми сакаленами, все еще сохранившими верность, и с животными, которых с каждым днем становилось все больше. Все они жадно внимали его речам. Многие больные просили его прикоснуться к их ранам и исцелить, он благословлял детей и вершил суд под старым дубом¹. Макаки, к счастью, обеспечивали снабжение продовольствием. У него было полно фруктов, корней, чистой воды, различных природных настоек, риса, маниоки, и куч листьев.

Он попросил всех ядовитых тварей, включая комаров и пауков, с которыми находил особое взаимопонимание, чтобы они его не трогали. Всех он призывал быть максимально терпимыми и, даже не выучив, соблюдать главные христианские заповеди. Очень многие слушали его проповеди, а затем наблюдали, как хищники пытаются есть траву. Гиены, львы, рыси, – все старались это делать, гримасничая, но неизменно в хорошем настроении. В результате, чтобы отомстить за Одилона, за все зло, что ему причинили и за гадости, которые ему подобные заставили его

1 Намек на Людовика Святого (1214-1270), французского короля, который вершил правосудие, сидя у подножия старого дуба.

вынести, все были готовы убить Персепуаля и Шназе при первой же возможности, но не для того, чтобы съесть их, а просто ради наказания. Одилон лакомился плодами, кокосовыми и фисташковыми орехами, арахисом, бананами, которые составляли его основную пищу. Он чувствовал себя прекрасно, бегал все быстрее, прыгал все выше и карабкался на деревья с ошеломляющей легкостью.

24

Предчувствуя, что наступление неминуемо начнется, и чтобы избежать преследований из-за контактов с врагом, Одилон попросил своих друзей-сакаленов вернуться в город. Он предпочел расстаться с ними, дабы их защитить. Они были для него доказательством того, что еще остались на земле человеческие существа, достойные так называться.

В час атаки, как раз перед рассветом, колонна под предводительством Персепуаля начала движение в пугающей тишине. Всем лесным зверям были даны указания молчать, и все, кто еще спал, были разбужены этой тишиной в час, когда обычно все звери, птицы и растения поднимают шум, занятые домашними заботами. Звуки шагов по листьям и стеблям раздавались, подобно крикам в соборе и, чем больше они старались не шуметь, тем лучше их было слышно.

Они еще оставались невидимыми, но их уже заметили, они медленно продвигались к собственной смерти. Колонна цепочкой вышла на полянку, каждый сжимал в руках оружие. Во главе колонны, чуть впереди, величественный, грандиозный, как будто явившийся из произведений Вагнера, шествовал Персепуаль, словно под грузом неумолимой судьбы. Будет ли его смерть так же прекрасна как гибель Тристана? На сей раз казалось, что

приближается подлинная и неподдельная трагедия. Это были сумерки недочеловека и, чтобы завершить сходжение в ад, не хватало лишь статуи Командора.

Пройдя через эту просторную полянку, не понимая, что он окружен, подобно гладиатору на арене, он остановился, прежде чем углубиться в лес, и все мужчины, следовавшие за ним, поступили так же, не видя и не слыша, как вокруг их ног в траве извиваются рептилии. Тут одна макака, как было условлено заранее, испустила долгий вопль, разорвавший предрассветную тишину. Это был сигнал для всех приготовиться к схватке. Затем вновь воцарилась тишина; казалось, она длится очень долго, в те краткие мгновения, прерываемые сухими щелчками затворов, пока мужчины заряжали ружья.

В этот момент кобры набросились на добычу и ужали практически одновременно. Порядок в колонне тотчас нарушился, они попытались уйти с лужайки, сотрясая воздух жуткими воплями отчаяния. Мужчины, как безумные, бросились в город и многие стреляли в воздух, пока Персепуаль запускал сигнал тревоги. На выходе с лужайки путь им преградили слоны и несколько львиц, которые тут же своими клыками оборвали их страдания. Война для них закончилась. Она была почти бескровной.

Как только в городе заметили выпущенную Персепуалем ракету, к нему тут же выслали спасателей на машинах скорой помощи и двух врачей, Будю и Шназе. На полянке они обнаружили тела, которые Одилон уже украсил цветами, и труп Персепуаля, чье лицо было повернуто в сторону отступавших. Рядом лежали сломанные ружья. Слоны растоптали винтовки, чтобы никто и никогда уже не смог ими воспользоваться. Возвращая оружие своим врагам, макаки отдавали им военные почести.

Увидев расprostертые на полянке тела, Шназе, у которого были слабые нервы, разразился слезами, а затем начал бредить. Будю, чье состояние здоровья было лучше, больше привыкший к жизни, попытался оказать им первую помощь, затем сложил тела в грузовики, чтобы отвезти их в город.

Народ толпился на улицах, встречая мрачную процессию; они тем более радовались, что ни один из сакаленов не согласился выступить в поход против Одилона. Убитые мужчины были наемниками, найденными Персепуалем с благословения и при поддержке секретного президентского фонда. Поэтому реакция населения была несколько необычной. Сопровождавших процессию осыпали оскорблениями, женщины плевались, а мужчины сбрасывали на грузовики содержимое мусорных баков, объедки, жирную бумагу, пустые бутылки, банановую кожуру и сырные корки. Женщины хлопали в ладоши, и в какой-то миг все вдруг пустились в пляс, начали петь и смеяться. Такого не было со времен победы над трабузуками. Шназе тут же забросали камнями, а Будю понесли на руках. На сей раз толпа продемонстрировала удивительное понимание политики правительства. Чтобы избежать новых столкновений, тела Персепуала и его людей были тихонько увезены в неизвестном направлении.

Одилон был спасен и свободен. Оказавшись на середине реки, впадавшей в озеро, на волосок от всего и от ничего, и естественно между двух стульев, он теперь сам был хозяином своей судьбы.

Разрываясь между обществом людей и животных, не в состоянии выбрать, устремиться ли ему на лед или в пламя, переполняемый большими надеждами, будучи в то же время убежденным фаталистом, он был не в состоянии принять окончательное решение. Он мог стать либо хозяином мира, либо же повелителем ветров и морей, дождей

и солнца. Укротитель диких зверей, спаситель или могильщик рода человеческого, он мог сделать так, чтобы о нем еще долго вспоминали, или же забыли навсегда, навеки.

На перепутье он был свободен, мог направиться куда угодно, подобно Сократу, Дрие, Монтерлану, Мисиме. Он знал множество способов, при помощи которых мог разнести вдребезги свою голову, источник всех его несчастий, тем более, что он был в прекрасных отношениях с разными зверями, готовыми оказать ему любую услугу: ему были послушны и скорпионы, и ядовитые змеи. Он мог продолжить свое существование, в ожидании, пока его не прервет Бог, либо же тут же отправиться в мир иной, чтобы посмотреть, как там дела.

Если же он все же решит продолжать жить, выберет ли он мир людей, несмотря на зло, которое они ему сделали, закрыв глаза на их пороки, их подлость, ненависть, которую они питали друг к другу, их убийственное безумие и их постоянную жажду разрушения? Или же он решит жить в другой вселенной, волшебной, открывавшей ему свои объятия, в огромном тропическом лесу, у ворот которого он теперь находился, полу-человек, полу-ангел, полу-животное, полу-Бог?

Однажды утром, после нескольких дней полного затворничества, в то время как солнце всходило над миром, он встал, не говоря ни слова, под взглядами тысяч безмолвных тварей, каждая из которых осознавала важность этих мгновений для всего человечества. Затем Одилон и его друзья медленно направились в темный лес, который навсегда поглотил их.

25

После ухода Одилона прошли годы, время и смерть сделали свое дело. Многих уже нет. Все изменилось, но все же осталось прежним. Добро частенько заменяли

злом, а зло еще худшим злом, но по ночам небо по-прежнему усеяно звездами, солнце встает каждое утро, а люди на земле продолжают нескончаемую суету, шумят и беснуются, зуб за зуб, псы на псов.

Цивилизованный мир все больше подпадает под власть избранных тиранов, которые, во имя прав человека и лучших побуждений, действуют все хуже и хуже. И все же от всего этого еще можно укрыться и чувствовать себя свободным – в глубине заброшенных деревень, среди океанов, в чаще тропических лесов и на последних сохранившихся льдинах.

К преодолевшим безумное желание питаться плотью коровам вновь вернулся разум, они снова стали есть траву. Заводы производят вишни весом каждая в килограмм, яйца без помощи кур, и маленьких глупых собачек, которые весят не больше ста граммов, но стоят состояние: из-за этих монстров дамы и некоторые господа готовы драться.

Люди привыкли к уродству, к насилию, к нетерпимости и к загрязнению, они работают лишь по двенадцать часов в неделю, уходят на пенсию в сорок лет и живут очень долго, так что столетних становится все больше. Мужчины почти все под два метра ростом, и женщины тоже. Пройдет еще несколько лет, и они будут вынуждены уподобиться своим далеким предкам, ибо смогут входить в дома, построенные в прошлом веке, только лишь на четвереньках. Произошло глобальное потепление, в воздухе ощущается все меньше свежести и многие старые морские порты уже затоплены. Люди посещают подводные церкви, облачившись в скафандры.

Париж, 4 января 2005



ИНТЕРВЬЮ С ФРАНСУА ЖИБО

Как обычно, Франсуа Жибо встречает меня в своей квартире на втором этаже частного особняка, который примыкает к известному парижскому кинотеатру «Пагода», и мы вместе проходим в его кабинет. Бюро Людовика XVI украшает бюст Ленина работы Штауба. На круглом столике среди безделушек я замечаю огромный нож мясника. «Им убили одного пьяницу, а я помог оправдать убившую его жену».

Маруся Климова: *Ваш первый роман «Китайцам и собакам вход воспрещен» имел во Франции успех, но, кажется, также спровоцировал и скандал – в основном, из-за названия. Не могли бы вы рассказать об этом чуть подробнее?*

Франсуа Жибо: О, это был совсем небольшой скандал, причем он разразился не после выхода романа, а после того, как по нему была поставлена пьеса. Тут же появились многочисленные статьи в прессе, после этого в китайском посольстве и узнали о существовании этого романа, хотя сам роман был опубликован уже пару лет назад. И вот тогда там решили подать на меня в суд, чтобы я изменил название пьесы. Естественно, этот факт вызвал увеличение количества зрителей, которые жаждали увидеть пьесу, все газеты тоже сразу же стали об этом писать, так как это их чрезвычайно забавляло. В суд подали представители Ассоциации парижских китайцев, и процесс все же состоялся. Меня защищал адвокат Жорж Кешман — один из самых известных в Париже – и мы выиграли процесс. Таким образом, мы оставили за собой право использовать именно это название: «Китайцам и собакам вход воспрещен». Само собой, ни в моем романе, ни в поставленной по нему пьесе не содержится ровно ничего против китайцев – наоборот, скорее, я хотел этим показать, насколько нелепо было

видеть это объявление в Шанхае в те далекие времена (кажется, в 60-е годы). Так что все закончилось мирно и никаких личных неприятностей с китайцами у меня сейчас нет. Более того, я не только сохранил с ними дружеские отношения, но и приобрел новых преданных сторонников и поклонников из их числа. К тому же, роман был вскоре после этого издан в Китае, хотя при переводе название, кажется, все-таки изменили. Но я даже не знаю, как мой роман называется на китайском...

МК: *В оригинале название вашего нового романа звучит как «Un nuage après l'autre» («За облаком облако»), что невольно навеивает ассоциации с романом Селина «D'un château l'autre» («Из замка в замок»). Вы сознательно стремились к такому созвучию?*

ФЖ: Нет, ничего общего с романом Селина этот роман не имеет. Я назвал свой роман так, потому что в нем описывается череда катастроф, которые следуют одна за другой, без малейшего просвета. Герои моего романа хотят сделать как лучше, они стремятся к идеалу, но у них все получается плохо, так что в полном соответствии с заголовком: одно облако сменяет другое, и никакого просвета не видно. Ничего не поделаешь, но жизнь – не что иное, как череда катастроф, худшая из которых, конечно же, смерть. Создавая своих героев, я как бы расчленил на части свое собственное сознание, свое «я», которое, как и у всех людей, раздирают противоречивые чувства и желания, поэтому если собрать изо всех этих персонажей одного, попытаться сделать эдакого «франкенштейна», то перед читателями предстану я собственной персоной. Однако сделать это будет не так просто, и мало кто сумеет добиться результата. Это меня отчасти утешает, потому что я, на самом деле, не хотел бы, чтобы мою душу прочитали до самой глубины, но с другой стороны, во мне есть

и желание предстать перед читателем совершенно обнаженным, своего рода стремление к эксгибиционизму. Посмотрим, что из этого получилось – теперь уже судить буду не только я.

МК: Тем не менее, на мой взгляд, ассоциации с Селином в вашем случае неизбежны. Все-таки вы являетесь президентом Всемирного Общества Селининских Исследований, автором трехтомной биографии Селина и т.д, и т.п. Что, кстати, побудило вас заняться изучением его творчества?

ФЖ: Наверное, главную роль тут сыграло то обстоятельство, что вскоре после его смерти я случайно познакомился с мадам Селин. Постепенно мы стали близкими друзьями. С Люсетт мы много говорили о творчестве Селина. Конечно, к тому времени я и сам уже много его читал. Она попросила меня опубликовать последний роман Селина «Ригодон», который тогда был еще в рукописи. Я расшифровал рукопись и издал книгу у Галлимара, сопроводив ее своим предисловием. Потом я решил написать биографию Селина, так как обладал большой информацией, благодаря его жене. И чем больше я открывал для себя творчество Селина, тем большее преклонение я перед ним испытывал.

МК: У вас никогда не было неприятностей, ведь Селин – фигура довольно противоречивая?

ФЖ: Да, у меня были неприятности. Я даже получал письма с угрозами.

МК: Когда именно?

ФЖ: Больше всего во время процесса, который я затеял против тех, кто опубликовал памфлеты Селина вопреки воле его вдовы. А кто посылал эти письма – мы так никогда и не узнали.

МК: *А правда ли, что «Безделицы для погрома» и другие памфлеты Селина собираются сейчас опубликовать в серии «Плеяда» у Галлимара?*

ФЖ: Нет, нет, такого не будет. Я знаю, что очень многие хотели бы увидеть все памфлеты Селина опубликованными, и, возможно, предпринимаются какие-то попытки это сделать, однако мадам Детуш категорически против этого возражает, поэтому такого проекта на данный момент не существует.

МК: *Совсем недавно был опубликован «Словарь Селина», который составил Филипп Альмерас. Что вы можете сказать об этом? Я, например, слышала, что в этой книге присутствует чрезмерная субъективность, а многие события жизни Селина трактуются предвзято.*

ФЖ: Альмерас проделал огромную работу. Обычно над словарем работает несколько человек, но он выполнил это один. Однако Альмерас – селиновед, поэтому не нужно удивляться тому, что в словаре содержатся явные или неявные выпады против других селинистов, в этой среде такие вещи не редкость. Тем не менее, несмотря ни на что, это серьезный труд. Естественно, там есть и ошибки, которых можно было бы избежать. У Альмераса вообще довольно много недоброжелателей, которые сразу бросились его критиковать, но я не из их числа.

Ну а субъективность присутствует всегда, особенно если имеешь дело с таким противоречивым материалом. Кто-то готов боготворить Селина, живет только его книгами – такие люди обычно создают идеализированный образ писателя. В то же время существуют и те, кто не принимает Селина, пытаются всячески его принизить и крайне предвзято трактуют каждый его шаг. Вот, к примеру, недавно один господин – если не ошибаюсь, его зовут Андре

Россель-Киршен – выпустил книгу «Селин и великая ложь», в которой он собрал все, что только есть самого неприятного в книгах и в биографии Селина. Таким образом, он устранил все факты, свидетельствующие в пользу Селина, и пришел к выводу, что Селин работал исключительно ради денег. Конечно, в своих книгах Селин действительно часто говорит о деньгах, но стоит ли говорить, что столь категорический вывод ничего общего с реальностью не имеет? Впрочем, провоцировать людей на ненависть и неприязнь к себе – это тоже вполне в духе Селина...

МК: *В каких еще крупных судебных процессах, не связанных с творчеством Селина, вы участвовали?*

ФЖ: В основном это были политические дела. И хотя я защищал как правых, так и левых, меня почему-то причисляют к правым. Многие процессы, в которых я участвовал, имели значение для современной истории. Я провел шесть месяцев в Центральной Африке, где защищал императора Бокасса, я защищал Аита Ахмеда в Алжире, анархистов в Бордо, бретонских метателей пластиковых бомб, алжирских террористов...

МК: *После возникновения Европейского Союза по многим европейским государствам прокатилась волна своеобразной либерализации в сфере прав и свобод, которая – по крайней мере, если судить по телевизионным репортажам – в первую очередь затронула права секс-меньшинств. Однако изменение законодательства далеко не всегда ведет к изменению реальной ситуации. Случалось ли вам сталкиваться с нарушениями прав сексуальных меньшинств во Франции?*

ФЖ: В целом гомосексуальность во Франции всегда принималась нормально – во всяком случае, если сравнивать с

другими странами, где за это были даже предусмотрены уголовные наказания. Например, брат Людовика XIV был гомосексуалистом, и всем об этом было известно, однако никаких особых проблем это обстоятельство за собой не повлекло. Так что даже исторически так сложилось, что во Франции гомосексуальные отношения – как между мужчинами, так и между женщинами, – никогда особенно не подвергались запретам...

Но, конечно же, в моей практике мне случалось сталкиваться с преследованиями гомосексуалистов. Другое дело, что эти преследования, как правило, совершались не открыто, а тайно, поэтому их достаточно сложно было выявить. Помню, я рассматривал дело, когда хозяин автомастерской уволил работника после того, как увидел его выходящим из гей-клуба. При этом у сотрудника были прекрасные характеристики, он даже ни разу в течение пяти лет не опоздал на работу. Было довольно сложно доказать мотивацию поступка хозяина, но все же мне удалось выиграть дело, сопоставив все факты.

Или вот еще. Совсем недавно я выступал адвокатом на процессе. Двое юношей шли поздно ночью по Парижу, и на них напали какие-то наглые юнцы, причем причина нападения была только одна: юноши были гомосексуалистами, шли в обнимку, и их поведение вызвало раздражение хулиганов. Нападавшие очень сильно избили моих подзащитных, так что те даже оказались в больнице, но, к счастью, остались живы. Так что в определенной среде у нас до сих пор сохранилось нечто вроде анти-гомосексуального расизма...

Но французские законы защищают гомосексуалистов, как и прочие меньшинства. Никто не имеет права нападать на них, подвергать преследованиям и ущемлять в правах. Парижское общество гомосексуалистов сейчас прекрасно знает свои права. Недавно они добились того,

что получили право заключать партнерство – это не брак, но гражданский договор, который дает права гомосексуалистам вполне официально жить вместе, то есть они защищены законом, имеют общую собственность, которую даже могут наследовать в случае смерти одного из них. Этот закон был недавно принят во Франции. Кроме того, в налоговое законодательство тоже были внесены существенные поправки: теперь гомосексуальная пара, заключившая гражданский союз, получает точно такие же налоговые льготы, как и обычная гетеросексуальная семья. Однако гомосексуалисты продолжают сражаться за право регистрировать настоящие браки и усыновлять детей. Кстати, новая Европейская Конституция, которую, как вы знаете, французы не приняли, но за которую лично я голосовал, действительно запрещала любые ограничения и дискриминацию по вопросам секса, религии, расы и сексуальных предпочтений. Правда, дискриминация у нас и так запрещена: нельзя, например, указывать в качестве причины отказа приема на работу национальность, вероисповедание или гомосексуальность человека. И теперь во всей Европе люди все более открыто заявляют о том, что они гомосексуалисты – во всяком случае, в крупных городах. Разве что где-нибудь в провинции положение по-прежнему остается сложным, ибо там еще многие считают гомосексуалистов ненормальными существами. Поэтому люди, придерживающиеся нетрадиционной ориентации, предпочитают переезжать в большие города, где есть специальные газеты, журналы, где их не просто терпят, а, можно сказать, принимают как равных. В Париже уже существует целый квартал, где есть специальные рестораны, кафе – квартал Марэ, улица дез Аршив – там по ночам кипит особая жизнь, и даже магазины ориентируются в первую очередь на гомосексуалистов. Мэр Парижа недавно открыто заявил, что он гомосексуалист.

И это огромный прогресс! Это означает, что в психологии людей за последнее время произошли определенные сдвиги, если уж они проголосовали за человека нетрадиционной сексуальной ориентации.

МК: *Значит, вы все-таки либерал?*

ФЖ: Да, скорее, все-таки либерал. Адвокат должен быть либералом.

МК: *А как вы относитесь к такому понятию как «гей-культура»?*

ФЖ: Я вообще не думаю, что существует какая-то особая гей-культура, поскольку воспринимаю только всю культуру в целом, безо всякого разделения по сексуальной ориентации. Вряд ли сексуальная ориентация каким-то образом выражалась в творчестве великих композиторов, писателей, художников, которые были гомосексуалистами...

МК: *Несмотря на свое общественное положение, вы ведете богемную жизнь, постоянно окружены молодежью... Я знаю, что некоторые ваши поступки кажутся французским обывателям чересчур экстравагантными. Например, я вижу, что вы побрились наголо. Это что, дань моде или может быть, вы стали буддистом?*

ФЖ: И да, и нет. Это не мода. Просто у меня уже не так много волос и они очень седые. Я уже давно хотел побриться, хотя у меня и так были короткие волосы. Однажды во Вьетнаме, в буддистском монастыре, я встретил священников и попросил побрить мне голову. Меня одели в оранжевые одежды, как буддиста, я был наполовину голый и древним ножом, которому уже сто лет, мне обрили голову. Буддисты были очень горды тем, что обрили мне голову. А я почувствовал себя очень хорошо, очень сво-

бодно. А что касается моих отношений с молодежью – я считаю, это нормально. У меня всегда было много друзей моложе меня. Многие люди моего возраста думают, что раньше было лучше, что теперь молодежь испортилась. Я считаю это полным идиотизмом. Молодежь теперь вовсе не хуже, чем раньше, хотя у нее гораздо больше проблем, чем у нас в их возрасте: наркотики, безработица, насилие, разные искушения, СПИД...

МК: *А вы хорошо учились?*

ФЖ: Я был ужасным бездельником. Меня несколько раз выгоняли из школы; в конце концов, я все же с трудом получил аттестат, я ненавидел школу и я был счастлив только на военной службе.

МК: *Вы считаете себя ленивым?*

ФЖ: Да, но ленивцем, который много работает.

МК: *Неужели уже в детстве вы решили стать адвокатом?*

ФЖ: Нет, я хотел стать дипломатом, но провалился при поступлении. И еще я хотел бы быть акробатом, работать в цирке на трапеции. Вы знаете, что я на самом деле канатоходец?

МК: *Правда?*

ФЖ: То есть я умею ходить над землей по тонкой стальной проволоке.

МК: *Вы занимаетесь спортом?*

ФЖ: Каждый день. В семь часов вечера я, как коммерсант, закрываю свою лавочку и иду в гимнастический зал,

где занимаюсь йогой. Могу добавить, что уже пятнадцать лет я не пью ни капли спиртного и не курю.

МК: *А кем вы хотели бы быть в более глобальном смысле?*

ФЖ: Королевой Викторией.

МК: *Почему?*

ФЖ: Потому что это одна из наиболее счастливых судеб, она с отрочества царила над самой большой империей в мире в период расцвета.

МК: *Вы коллекционер?*

ФЖ: Вы сами видите.

МК: *Да-да, я вижу у вас даже Веласкеса: эта картина, где изображены две инфанты...*

ФЖ: Да, но я не уверен, что это Веласкес, поэтому снял табличку.

МК: *Кроме того, я вижу у вас на стенах несколько картин русских художников, вы были в числе тех, кто дал деньги на восстановление Павловского дворца... Каково, вообще, ваше отношение к России? Вы часто там бываете?*

ФЖ: В первый раз я приехал в Россию в 1960 в Москву, потом еще пару раз был в Москве. И мне всегда там нравилось, меня очень тепло принимали, несмотря на коммунистический режим. Я очень люблю Петербург. Меня всегда завораживала русская культура: литература, живопись... Я очень люблю русский балет и музыку... Я считаю, что эта страна обладает необыкновенным шармом. Сравнивая то, что происходило в России с 1914 года

с происходящим здесь во Франции, я вижу, что у нас больше нет истории – во Франции, в отличие от России, практически ничего не происходит. Русская же история необыкновенна, хотя и трагична. Я считаю, что цари не заслужили такой участи, очень жаль, что Николай Второй не успел осуществить намеченные им реформы. Если бы это произошло, Россия и теперь была бы одной из самых могущественных стран в мире. Между прочим, моя мать рассказывала мне, что у нас с царевичем Алексеем была общая кормилица – француженка из Нормандии. Так что я могу считать себя немного русским...

МК: *А мне показалось, что в вашем последнем романе содержатся намеки на российские реалии. Так, например, война между племенами трабузуков и сакаленов начинается в ночь с 21 на 22 июня. Кроме того, вы упоминаете имя Путина. Вы действительно имели в виду русских, когда описывали все эти жуткие события?*

ФЖ: Нет, конечно же, нет. В романе нет ничего общего с российской историей, и я вовсе не имел в виду Россию. А если русские вдруг найдут в моей книге что-то им чрезвычайно знакомое – это будет чисто случайным совпадением, ну и, конечно же, комплиментом мне как писателю. Кстати, помимо Путина, я упоминаю также и Саддама, и Папу, и еще многих личностей, которых можно охарактеризовать как одержимых какой-либо навязчивой идеей, своего рода безумцев, но безумцев возвышенных. Я точно могу вам сказать, что в моем романе не содержится никаких намеков на русских, я не имею никаких предрешений ни против русских, ни против самого Путина. Просто один мой герой, сумасшедший, обвиняет психиатра в том, что тот хочет нанести вред его ребенку, объявив его также сумасшедшим. Таким образом, у него становятся виновными все: Папа римский, Путин, Носферату, –

потому что он не знает, кого выбрать и кто на самом деле виновен в его проблемах...

МК: *То есть вы написали своеобразную сатиру на современные нравы, достаточно злую сатиру...*

ФЖ: Ну да, я пишу в таком типично французском стиле, как бы выворачивая мир наизнанку. В общем, я просто продолжаю французскую традицию...

МК: *Но современный мир раздражает вас?*

ФЖ: Мне кажется, что писатели всегда были настроены против окружающей их реальности, и все критиковали современные им нравы и политику. Естественно, я говорю в первую очередь о великих писателях. Вспомните хотя бы Мольера, Вольтера, Монтескье, классиков 18 века – они все критиковали окружающий мир. То же самое можно сказать и о писателях XIX века – творчество Бальзака или же Золя, например, является ужасным шаржем на общество – это убийственная критика образа жизни французов, их обывательских мелкобуржуазных нравов. О Селине и говорить нечего! Практически вся французская литература стоит на критике, на высмеивании. Таким образом, выявляя скрытые пороки, можно дать людям шанс избавиться от них, измениться в лучшую сторону. Хотя, положила руку на сердце, должен сказать, что к настоящему моменту, общество не так уж сильно изменилось, как, впрочем, и люди. Писатели продолжают критиковать общество, но практически ничего не меняется...

МК: *Вы не опасаетесь, что вас сможет постичь участь Селина?*

ФЖ: Нет, у меня к несчастью нет таланта Селина. Селин – это гений, у него свой стиль, своя манера, он

полностью преобразовал французскую литературу. Я вовсе не таков, я просто скромный писатель, который решил написать роман на основе пережитых событий. Моим друзьям книга не нравится, но это ничего не значит. Возможно, она плохо будет встречена критикой, но и это не важно. С самого детства я ощущал потребность писать. Большую часть из написанного мною я сжег, а то, что осталось, думаю, достойно того, чтобы быть опубликованным.

Я пишу, будучи уже в преклонном возрасте, потому что, мне кажется, лучше начать писать после того, как ты пожил на этом свете, чем наоборот. Например, тот же Селин писал о былом после того, как многое успел пережить, все мысли созрели в его голове. И я тоже кое-что пережил – я помню войну, взрывы бомб, потом освобождение, я был и на войне в Алжире, я провел там очень много лет как офицер, это было совершенно необыкновенное время. Потом в 1960, после окончания войны я вернулся во Францию и оказался вовлеченным во все большие политические процессы того времени... Мне есть, что рассказать...

МК: *Вы были на войне?*

ФЖ: Да. Я полковник кавалерии. Кроме того, я учился в Высшей Школе Национальной Безопасности. Кроме того, за эту войну я получил Военный Крест...

МК: *А какие-нибудь литературные премии вы получали?*

ФЖ: Два раза я становился лауреатом Французской Академии и один раз – Медицинской Академии. И все за мои произведения о Селине – вы же знаете, что он был врачом.

МК: *Насколько я знаю, вы являетесь не только биографом Селина, но и душеприказчиком его вдовы. В 2001 году французская*

Национальная библиотека за рекордную сумму в один миллион шестьсот тысяч долларов приобрела рукопись «Путешествия на край ночи». Будет ли опубликована эта рукопись – ведь, насколько я знаю, это был неканонический вариант романа Селина?

ФЖ: Нет, этот вариант публиковать никто не собирается. «Путешествие на край ночи» уже давно опубликовано, была масса переизданий, так что нет никакого смысла публиковать эту рукопись. Мы не предвидим публикацию никаких факсимиле, потому что, я думаю, этого делать не следует. Публикуют обычно конечный вариант рукописи, а промежуточные варианты, недоработанные, не стоит выносить на суд широкого круга читателей, потому что автор сам не стал бы публиковать их в таком виде. Черновики – это подготовительная работа, которые могут быть интересны для исследователей, но не для читателей.

МК: *Удивительно, но факт: до сих пор ни один роман Селина так и не был экранизирован...*

Действительно ли режиссер Франсуа Дюпейрон собирается сейчас снять фильм по «Путешествию на край ночи»?

ФЖ: Селину не очень повезло с кино, хотя желающих снять по его произведениям фильм было достаточно много. Однако всякий раз либо сами режиссеры не справлялись с трудностями, либо продюсеры в последний момент отказывались давать деньги под эти проекты. Что касается Дюпейрона, то он действительно заявил о своем намерении экранизировать «Путешествие на край ночи». Однако, вы же знаете, какая это огромная работа – начиная со сценария и заканчивая монтажом. Но могу вам определенно сказать, что примерно год назад контракт с Дюпейроном был подписан, и теперь у него эксклюзивные права на экранизацию «Путешествия». Кстати, подобный

контракт на экранизацию подписан впервые – все предыдущие проекты были в этом смысле гораздо более эфемерными. Правда, насколько мне известно, на данный момент кастинг еще не состоялся, хотя у Дюпейрона, как я слышал, много кандидатов, которые хотели бы играть в этом фильме, однако окончательного решения режиссер еще не принял. В общем, вся работа еще впереди. И, помимо, они собираются снять двухсерийный фильм.

МК: *Селину не повезло не только с кино, но и с театром. Сейчас в России только что увидел свет том, в котором собраны его пьесы («Церковь» и «Прогресс»), а также сценарии и балетные либретто. Однако ни один из сценических опытов Селина, по-моему, так ни разу и не был реализован, то есть до сцены так и не дошел...*

ФЖ: Нет, постановки все же были. Хотя, надо признать, что «Церковь» чрезвычайно сложна для постановки: очень часто меняется место действия и слишком много персонажей. Сейчас предпочитают ставить пьесы, постановка которых обходится не очень дорого, в которых занято минимальное количество актеров. Особенно если сравнивать с послевоенным театром, то это отличие прямо бросается в глаза – тогда в пьесах было задействовано огромное количество людей. В этом отношении пьеса Селина «Церковь» выглядит не очень современно, уж больно много в ней действующих лиц! Но, тем не менее, по крайней мере дважды ее ставили. Первый раз в середине 30-х в Лионе, в театре Амандье, где она имела большой успех. Люди даже сидели на ступенях, все места в зале были заняты, так что успех был налицо. Кажется, она шла там два или три месяца, а потом постановку решили даже продлить, так много желающих было ее посмотреть. Были и еще какие-то попытки ее поставить, но уже не столь

успешные. Правда, всякий раз пьесу сокращали, поскольку, как я уже сказал, она довольно громоздкая... А «Прогресс» действительно не ставили ни разу. Вот интересная задача для современных любителей театра: поставить пьесу Селина, которую ни разу не представляли на сцене!

Что касается балетных либретто, то один из них хотела поставить Арлетти, однако у нее ничего не получилось. Но с балетом, вообще, сложнее – тут еще нужна музыка, хореография, ведь авторами балета, скорее, являются именно композитор и хореограф, а не либреттист.

МК: *А вы любите театр?*

ФЖ: Я часто хожу в оперу. У меня постоянная ложа в парижской Опере, но я езжу и в другие: в Брюссель, Женеву, Парму, Венецию, Милан и, конечно, Зальцбург и Бахрейн...

МК: *Часто ли вы ходите в кинотеатр «Пагода»?*

ФЖ: Когда там идут хорошие фильмы. Но вы знаете, ведь «Пагода» – это мой семейный замок. В кинозале был салон моей бабушки, где росла моя мать. В 1934 году из-за кризиса мой дедушка захотел, чтобы это здание приносило прибыль, и салон превратился в кинотеатр. В 1988 году мы продали его: этого хотели мои братья и кузены... И все-таки я чувствую угрызения совести, как будто мы продали замок своих предков.

МК: *Зато теперь это самый престижный парижский кинотеатр.*

ФЖ: Да, это правда: самый престижный.

МК: *Два года назад вы возглавили еще и фонд Жана Дюбюффе, картины которого я тоже вижу у вас на стенах. Вы увлекаетесь арт-брют?*

ФЖ: Жан Дюбюффе был основателем этого направления, но я бы не сказал, что меня оно особенно интересует – скорее, меня интересует творчество самого Дюбюффе. Есть «сырое искусство» (то, что называют «арт-брют») и окультуренное искусство. Окультуренное искусство – это искусство, созданное художниками, которые получили образование и которые занимаются творчеством сознательно, обычно это даже является их профессией. А арт-брют – это искусство людей, находящихся вне культурной среды, маргиналов: заключенных, безумцев и других подобных им, не получивших никакого образования и занимающихся искусством спонтанно, как говорится, по зову сердца. Короче говоря, искусство для них просто является способом самовыражения, но сами они находятся полностью вне социума – это маргиналы, вот и все. Конечно, границы между арт-брют и обычным искусством часто бывают достаточно размыты, поскольку теперь работы многих представителей арт-брют тоже находятся в музеях, так что отделить одно от другого бывает порой достаточно сложно. Дюбюффе, естественно, пытался все это осмыслить, то есть он занимался этими художниками, записывал свои мысли. Дюбюффе – это интеллигент высочайшего класса, но он сам ничего общего с арт-брют не имеет. Он искренне ненавидел искусство, созданное профессионалами, однако, тем не менее, сам все же относился, скорее, именно к его представителям. Так что арт-брют и Дюбюффе – это совершенно разные вещи.

А началось все очень давно. И тоже благодаря Селину! Дюбюффе всегда преклонялся перед Селином, несмотря на то, что последний не отвечал ему взаимностью, то есть

относился к его творчеству достаточно прохладно... Так вот, мадам Селин представила меня Жану Дюбюффе вскоре после того, когда сама впервые с ним познакомилась. Так что я встретился с Дюбюффе, кажется, где-то в 1962 году, и постепенно мы с ним подружились. У нас установились близкие отношения, и незадолго до своей смерти, где-то году примерно в семидесятом, он попросил меня создать Фонд. А как только Фонд был создан – приблизительно в 1973-1974 году – Дюбюффе попросил меня его возглавить. Так что я был во главе этого Фонда с самого его основания. Просто одно время по личным причинам я занимал должность вице-президента, а президентом Фонда была Арманда де Трентиньян, дочь поэта Франсиса Понжа. Но недавно мне снова пришлось возложить на себя все обязанности и стать президентом, поскольку я уже очень давно этим занимаюсь и в курсе всех дел.

МК: *Значит, вы предпочитаете профессиональное искусство? Тем не менее, я где-то прочла, что не так давно вы нашли на улице чернокожего художника и приняли в его судьбе живейшее участие. Это правда?*

ФЖ: Да, это был художник родом из Кот д'Ивуар, его звали Жак (так, во всяком случае, он сам себя называл), однако он не являлся представителем арт-брют. Когда он умер, мы узнали, что три или четыре года он учился в Академии художеств в Гренобле, так что понятно, откуда у него была такая великолепная техника. В общем, он не был представителем арт-брют, а просто уличным художником. Честно говоря, я так до сих пор и не понял, при каких обстоятельствах он оказался на улице, однако он владел великолепной техникой рисунка и у него было образование. Я познакомился с ним весной: просто шел по улице Мсье к себе домой и вдруг увидел чернокожего человека, который полулежал на мостовой, а рядом валялись сваленные в

кучу холсты. Этот человек что-то такое чертил на асфальте, и мне этот рисунок показался очень необычным. Я заинтересовался им и пригласил его к себе домой, чтобы он мог помыться, поесть и рассказать мне о себе. Но, к сожалению, он оказался чрезвычайно скрытным, никакой информации о себе он так и не сообщил, зато довольно много пил и курил: кажется, чуть ли по три пачки в день. Каждый день мне приходилось покупать ему по две бутылки виски и сигареты. В результате, вся моя квартира провоняла табачным дымом, который я просто не выношу. Но все-таки это был очень талантливый художник... Мои друзья также приняли горячее участие в его судьбе, и на какое-то время он переехал к моему приятелю... Но тут выяснилось, что Жак был очень болен, у него обнаружился целый букет заболеваний, пришлось поместить его в больницу, и где-то через пять месяцев после нашей встречи, кажется, в октябре или ноябре он умер. Должен сказать, что мы с друзьями приложили немало усилий, чтобы сделать его известным: приглашали журналистов, о нем писали в прессе... Но у нас не было времени организовать прижизненную выставку его работ, поэтому пока ни одной выставки так и не состоялось. Все его работы хранятся у меня, и, кстати, недавно мне удалось продать одну картину за достаточно высокую цену. Так что люди по-прежнему интересуются его творчеством, один писатель даже пишет о нем книгу, и я надеюсь, что когда-нибудь о нем заговорят во всем мире, хотя ему самому это теперь уже не нужно.

МК: *Кем вы считаете себя в первую очередь – адвокатом или писателем?*

ФЖ: Скорее, адвокатом, а писатель я пока что начинающий.

Париж, май 2005 г.

СОДЕРЖАНИЕ

От переводчика	5
СОБАКАМ И КИТАЙЦАМ ВХОД ВОСПРЕЩЕН, <i>перевод М. Климовой и В. Кондратовича</i>	9
НЕ ВСЕ ТАК БЕЗОБЛАЧНО, <i>перевод М. Климовой</i>	117
I. ОГНИ БОЛЬШОГО ГОРОДА	121
1 – Сумерки богов	121
2 – Наполеон Малый	122
3 – Гладиаторы и свинопасы	125
4 – Смерть в кредит	128
5 – Свадьба	132
6 – На западном фронте без перемен	137
7 – Пьяный корабль	141
II – АДСКАЯ МАШИНА	145
8 – Борьба с пауперизмом	145
9 – Карнавал животных	150
10 – Идиот	152
11 – Эмали и камеи	156
12 – Немного солнца в холодной воде	158

III – ОГОНЬ	168
13 – Героическая кермесса	168
14 – Ветер в ветвях сассафраса	169
15 – Битва	176
16 – Война и мир	178
IV – ВОСПИТАНИЕ ЧУВСТВ	185
17 – Когда рождается ребенок	185
18 – О мышах и людях	189
19 – Наоборот	191
20 – Добрый маленький чертенок	193
V – БЕСЫ	201
21 – Город, которым правит ребенок	201
22 – По ту сторону добра и зла	205
23 – Книга джунглей	209
24 – Выбор Софи	213
25 – Прекрасный новый мир	216
Маруся Климова. <i>Интервью с Франсуа Жибо</i>	219

Франсуа Жибо НЕ ВСЕ ТАК БЕЗОБЛАЧНО

Перевод Маруси Климовой



Книги издательств «МИТИН ЖУРНАЛ», «KOLONNA publications» можно купить в московских магазинах:

«Проект ОГИ», Потаповский пер., дом 8/12, стр. 2 • «Пироги на Дмитровке», ул. Б.Дмитровка, дом 12, стр.1 • «Ад Маргинем», 1-й Новокузнецкий пер., 5/7 • «Фаланстер», Б.Козихинский пер., дом 10 • «Книжная лавка при Литинституте им. А.М.Горького», Тверской бульвар, дом 25 • «У Кентавра», ул. Чайнова, дом 15 • «Молодая гвардия», ул. Б.Полянка, дом 28 • «Московский Дом Книги», ул. Новый Арбат, дом 8 • «БУКБЕРИ», Сеть книжных супермаркетов • «Москва», ул.Тверская, дом 8

в Санкт-Петербурге,
в магазинах торговой
сети «БУКВОЕД» по адресу:

Улица Пестеля, 23
Невский проспект, 13
Кирочная улица, 23
Московский проспект, 172
Лесной проспект, 61, корп. 1
Лиговский проспект, 4
Загородный проспект, 35

в Интернет:


- «Ozon» – www.ozon.ru
- «Межкнига» – www.mkniga.ru
- «Лавка Я+Я» – www.shop.gay.ru/books/

По вопросу
оптовых продаж
книг издательств
«МИТИН ЖУРНАЛ»,
«KOLONNA publications»
обращаться в ООО «БЕРРОУНЗ»,
телефон 095-104-68-36

Для заказа книг по почте
наложенным платежом
редакция просит обращаться
по адресу:

170024, г.Тверь, а/я 2448
в интернет:

www.mitin.com/request.shtml

KOLONNA Publications: Рос-
сия, 170024 Тверь, а/я 24048
Формат 84 X108/32, объем 26 п.л.,
подписано в печать 15.09.2005 г. Гарнитура
New Baskerville. Тираж 3000 экз. Заказ № 1236
Отпечатано с готовых х
диапозитивов издательства.
ОАО «Тверской полиграфический
комбинат», г.Тверь, пр-т Ленина, 5.
Телефон (0822) 44-42-15. Интернет/
Home page - www.tverpk.ru.
Электронная почта (E-mail) 
sales@tverpk.ru 